

# УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ



WILLIAM  
GOLDING

«Мне давно известно, что —  
каждому есть место  
под небом, и что в конце  
пути, на котором  
спускаются в долины  
темноты, которые  
и делают себя не более чем  
и вратами к темноте».

БУМАЖНЫЕ  
ЛЮДИШКИ

## Annotation

Как известно, Литература — это подруга, которая не кормит, а лишь поит. Что же тогда такое Литературная Критика? Романист Уилфрид Баркли, переживающий одновременно «кризис творчества» и «кризис середины жизни», поневоле вынужден терпеть возле себя литературного «Санчо Пансу» — дотошного профессора — «барклеиста»... Так начинается ядовитая сатира на писательские и издательские нравы второй половины XX в. — «Бумажные людишки» Уильяма Голдинга, книга своеобразная, изящная и, как ни странно, ЗАБАВНАЯ.

---

- [Уильям ГОЛДИНГ](#)
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

# **Уильям ГОЛДИНГ**

## **БУМАЖНЫЕ ЛЮДИШКИ**

*Моему другу и издателю Чарльзу Монтейту*

# Глава I

Я сразу понял, что ночка предстоит еще та. Опьянение, что бы я там ни пил, улетучивалось из головы, оставляя осадок раздражения, непонятной злости и даже в чем-то раскаяния. Это не был запой или загул, ни-ни. Если сильно постараться, я бы убедил кого угодно, что вечером выпил не больше положенного по обязанности хозяина — ведь известный британский писатель принимал профессора английской литературы из-за океана, не как-нибудь. И доказал бы, что мне как-никак исполнилось пятьдесят и что мы устроили, цитирую, этакое обильное континентальное застолье, основу основ европейской цивилизации, конец цитаты. (Никак не соображу, взято это откуда-то или нет. Пусть будет самозаимствование, если угодно.) Но безжалостный аналитик моего поведения — то бишь я сам — ни за что не поверил бы в такую чушь. Начали мы за завтраком. Это-то и послужило первотолчком; настало время ужасающей жажды с четырех до пяти, когда кажется не просто оправданным, а безусловно необходимым в свете того, что началось в полдень, сдвинуть предложение добавить — с шести, как диктуют условности, на пять, а это, в свою очередь... и так далее. И если я мог поздравить себя с тем, что как-то еще соображаю в половине четвертого утра, то это настолько ничтожная победа, что почти всякий счел бы ее тяжким поражением.

А этот занудный молодой профессор Рик Л. Таккер будет еще и за завтраком! При воспоминании о нем я заворочался на кровати и тут же скрючился со стоном. Хоть за то спасибо, что он без жены, а то я стал бы подкатываться к ней или по крайней мере пытаться ухаживать. И пришлось бы снова пить. Нет. Я все равно выпил бы — потому что была возможность и было скучно, и к черту страшные клятвы завязать, которые я давал себе не далее как в прошлый понедельник.

И вот еще что. В моих воспоминаниях о прошедшем вечере зиял провал, этакая черная дыра, относительно того периода, когда долгий летний вечер перешел в ночь. Да нет, не дыра, просто дырочка в промежутке между послеобеденным возлиянием и... Да, она определенно становилась меньше, черная дыра то есть, потому что я начал припоминать, что достал еще одну бутылку, открыл ее, невзирая на их протесты, и... и что? Я ощупал горло, рот, голову, живот. Нельзя же поверить, будто я много принял из этой (пятой!) бутылки. В противном случае моя голова бы... и живот бы... и черная дыра бы...

И вот именно в этот момент — если бы я дал себе труд просмотреть эту гору дневников, которые намерен сжечь, то смог бы назвать точный день и час — мне пришла в голову мысль. О том, что точкой перехода запойного пьянства в алкоголизм как раз и служит появление этой самой черной дыры. С ужасающей ясностью раннего утра я понял — болезнь моя уже неизлечима. Потому что идет интенсивный процесс распада мозга. Я присел, хотя и с трудом. За окном появлялись проблески света. Меня охватил следующий симптом — ощущение сухой беспощадной реальности, препарирующей меня со всех сторон, неумолимого стража закона, вселяющего безумный страх, как это бывает со всеми наркоманами. Вот эту самую сухость и суровость можно было воспринимать как чудовище, которое пока еще не видно — и не будет видно, в отчаянии мысленно возопил я, никогда не появится на свет, насколько это в моих силах! Я буду сражаться с черной дырой, сражаться на побережье, в ресторанах и кафе, в клубах и барах, в пути и дома<sup>[1]</sup>, в самих проклятых восхитительных бутылках, надеясь получить хоть толику удовольствия без расплаты, или хотя бы получать удовольствие при трезвом свете дня, а не под пристальным строгим взглядом чудовища — помню, я перепугался до глубины души, я был в неопикуемом ужасе. Нет, да нет же, взмолился я в сторону розовеющего окна, я не так низко еще пал! Но мне вспомнились слова мудреца: все, что только может случиться с человеком, может случиться именно с тобой!

Я попытался собраться с мыслями. Ты ни от чего не застрахован. От черной дыры никуда не денешься, но первое, что следует сделать трезвеющему с тяжкого похмелья, — найти фонарик и светить в нее, пока не убедишься, что это всего лишь обычный провал в памяти, один из признаков начинающегося старения, которых с каждым годом будет все больше. Здравый смысл подсказал и выход. Нужно только спуститься вниз, осмотреть четыре пустые бутылки и пятую початую, вызвать дух Холмса или Мегрэ и восстановить этот промежуток от обеда до сна по виду бутылок и рюмок, может, что-то и пролилось, а может, к счастью, и нет, и я увижу, что пятая бутылка полна, только пробка вынута...

Тут Элизабет со вздохом повернулась на соседней кровати. Она-то должна знать — о да, разумеется! И все мне выскажет в надлежащее время; но зачем же будить ее и спрашивать? Чтобы познать истину, следует надеть халат и шлепанцы, ну да, и взять фонарик, который я всегда держу на тумбочке, потому что в наших местах часто отключают свет. И мои собственные попытки скрыть по пьянке следы не должны вводить меня в заблуждение. Необходимо допросить бутылки с пристрастием. Если

потребуется, надо будет выскользнуть через заднюю дверь — нет, через оранжерею, там тише, — добраться до мусорного ведра, сборника, ящика, *roubelle*, называйте как хотите, и потрудиться пересчитать бутылки. Потому что, правду сказать, я уже не верил, что та бутылка полна, только пробка вынута. Это было бы чудом, а чудеса, хотя и случаются, но только не со мной. Я был настолько слаб — разумом, не телом, — что боязнь случайно разбудить Элизабет превратила перспективу вылезть из кровати в испытание воли, подобное прыжку в холодную воду. Сроду не любил холодную воду.

Тут-то и случилось то, что заставило меня решиться. Прорезиненная крышка мусорного ящика во дворе с грохотом упала. Теперь все прояснилось. Я больше не был кающимся пропойцей. Я превратился в Разгневанного Домовладельца. «Сэр, доколе мы под видом просвещенного экологизма будем терпеть бесчинства этих отвратительных тварей, рискуя при этом заразиться болезнью, которая уже считалась уничтоженной? Сэр, хотя нам и следует быть осмотрительными, тем не менее, сэр... сэр, сэр, сэр...»

Чертовы барсуки. Я вылез из-под одеяла, уже не обращая внимания на Элизабет. Единственным оружием в доме было древнее, но мощное пневматическое ружье, которое я приобрел при обстоятельствах слишком тривиальных и запутанных, чтобы рассказывать о них. Писатель — нет, известный писатель — да нет, черт побери, Уилфрид Баркли стреляет в барсука. Разве это запрещено? Со времен короля Иоанна Безземельного или когда там? Что, нельзя застрелить барсука на своей собственной земле? Голова у меня сделалась удивительно ясной, похмелье отошло куда-то совсем далеко. Я чувствовал себя прощенным. Наверное, это была возможность кого-то убить, вековая привилегия землевладельцев. Я набросил на себя халат, влез в шлепанцы. На цыпочках спустился мимо гостевой комнаты, где в одиночестве почивал на *letto matrimoniale*<sup>[2]</sup> наш профессор. В столовой достал ружье из буфета, откинул ствол и зарядил. На цыпочках проследовал через теплую оранжерею, открыл дверь и огляделся.

Тут передо мной возникла дилемма. Как стрелять в барсука, если не видно ничего, кроме неясного утолщения в мусорном ведре? Лапы животного цеплялись за края, головой, погруженной внутрь, он сноровисто рылся в наших отбросах. Наверное, слизывает остатки паштета или обсасывает шкурку от бекона, а то и грызет косточку. Это ведь дикое животное, если его и можно усыплять, то надо призывать соответствующие власти. Опять-таки (черт возьми, хоть раз в году бывает по утрам не так

холодно?), опасны ли барсуки — не просто как переносчики инфекции, а сами по себе — кусаются, царапаются, что там еще? Нападает ли раненый барсук на человека? Не вцепится ли загнанная в угол или беременная (а беременна ли она?) барсучиха мне в горло? Сложность положения усугублялась еще и моим абсурдным одеянием. На мне была старая пижама, а завязка халата стягивалась на животе немного выше резинки пижамных штанов, которая от ветхости уже ничего не держала. Соответственно штаны вели себя одинаково даже в противоположных ситуациях. Когда я худел, они спадали. Если я набирал вес, они сползали. В одной руке я держал заряженное ружье, в другой фонарик, и мне нечем было придержать штаны, когда они поползли под халатом — пришлось сдвинуть колени. В таком положении трудно противостоять нападающему барсуку. С большой неохотой я признал руку моей всегдашней судьбы — нелепого фарса.

И тут из мусорного ящика донесся новый звук. Я зашаркал туда нелепой походкой: в одной руке ружье, другая держит фонарик и в то же время прихватывает спадающие штаны. От внезапного порыва ветра зашумели ветки в саду. У ящика я оказался в тот самый момент, когда барсук, встревоженный непонятным звуком, застыл на месте преступления. Он поднял голову, увидел меня, и это был единственный раз, когда я встретил «сдавленный крик» не в книге. За криком последовало на высоких тонах то, что в комиксах обозначают звукоподражанием «ги-и» или «гу-у». За кромкой ящика на фоне зари показалось лицо профессора Рика Л. Таккера. Мне следовало бы пожалеть его, но я не стал. Он мне осточертел, он всюду влазил, все вынюхивал и явно хотел сделать меня своей персональной кормушкой. А теперь я застал его за немыслимым святотатством. Я заговорил очень громко. Пусть весь мир проснется, гремели мои децибелы, с чего это я должен скрывать, что достойный профессор английской литературы роется в моих отбросах?

— Вы, наверное, очень проголодались, Таккер. Жаль, что мы не смогли вас накормить как следует.

Он не издавал ни звука. За его спиной виднелась распахнутая дверь кухни. Я не мог на нее указать — руки были заняты. Я сделал жест ружьем, при этом придавил пальцем (я ведь тогда еще не привык к оружию) спусковой крючок. Ружье выстрелило со звуком, который днем показался бы не громче хлопка пробки из-под шампанского, но на рассвете напомнил первый залп при высадке в Нормандии. Таккер, надо полагать, издал второй сдавленный крик, но я ничего не слышал, кроме выстрела, эха от него и воплей птиц на много миль кругом. Таккер повернулся и неуклюже,



как барсук, затопал на кухню. Я потрусил за ним следом, включил свет, закрыл дверь и приставил к ней ружье. Я свалился на табурет у кухонного стола, а Таккер, понимая неизбежность дальнейшего разговора, сел напротив. Из-за собственного дурацкого положения и бестолковости мое раздражение переросло в ярость.

— Бога ради, Таккер!

Щека у него была вымазана чем-то съедобным, к тыльной стороне ладони прилип мармелад с парой чаинок. Видно было, как он старался — даже разрывал пластиковые мешки, которые я выставлял для сельских мусорщиков, или, как выразился бы Таккер, «работников санитарной службы». В правой руке Таккер сжимал кучу смятых бумаг, которые я еще сутки назад полагал надежно уничтоженными. К его халату прилипли обрывки бумаги с написанными на них детскими каракулями.

— Господи, Таккер, вы же... Вы думаете, для чего я это выбросил? Ну-ка...

Тут мне стало не по себе. Все не так просто.

— То, что вы держите, Таккер, нормальные люди называют компроматом. У меня его немного, но то, что есть, не стоит и рулона приличной туалетной бумаги. Можете забрать это с собой, если хотите.

— Пожалуйста, Уилф...

— И вы порезались. Там есть битое стекло.

Он покачнулся на табурете.

— Я ранен...

Я словно впервые услышал сдавленный крик. И слово «ранен» услышал как бы впервые.

— Господи!

Я вскочил на ноги, сделал шаг и ухватился за стол, чтобы не упасть. Пижамные штаны свалились до лодыжек. Я отшвырнул их, вдруг осознав, насколько серьезна ситуация. Из праведно разгневанного я внезапно превратился в чудовищно виновного.

— Дайте-ка я посмотрю.

— Нет-нет. Все в порядке.

— Чушь. Вот — смотрите!

— Думаю, все обойдется.

Я схватился за пояс его халата, развязал узел, потом стащил халат с его плеч. Показалась волосатая грудь, а ниже узкая полоска зарослей вела к еще более волосатому лобку.

— Где, черт побери?

Он не ответил, но покачнулся. Халат сполз с его руки — от волосатого

плеча к заросшему предплечью. Я со страхом высматривал кровь. Потом стащил халат до кисти. Там виднелись синяк и царапина. Ручеек крови стекал на тыльную сторону кисти.

— Таккер, вы идиот, вы вообще не ранены!

Словно по законам сцены, дверь кухни распахнулась. Вошла Элизабет, присматриваясь к наготы Таккера и моим отброшенным пижамным штанам.

— Мне не хотелось бы мешать, но уже довольно поздно и очень трудно заснуть. Вы бы не могли не так шуметь с этим?

— С чем, Лиз?

— С тем, что вы делаете.

— Ты что, не видишь? Я подстрелил его. Он залез в мусорный ящик, ведро, бак. Барсук... О Господи! Не могу объяснить!

Элизабет ужасающе ласково усмехнулась:

— Не сомневаюсь, что сможешь, если дать тебе время, Уилфрид.

— Я думал, что он — это барсук. Я случайно выстрелил из воздушки, понимаешь...

— Понимаю, — промурлыкала Элизабет. — Если ты намерен продолжать, пожалуйста, не напугай лошадей.

— Лиз!

Она нагнулась и подобрала обрывок, свалившийся откуда-то с Таккера. Перевернула бумажку, прочла ее сначала про себя, а затем вслух:

— «...жажду быть с тобой. Люсинда».

Снова перевернула и понюхала с видом знатока.

— И кто же такая Люсинда?

Потом, словно в ней сработал переключатель, она превратилась в идеальную хозяйку. Ей надлежало убедиться, что уже сокрытые халатом волосные покровы Таккера не пострадали. Она вела себя так, словно все происшедшее было шуткой, которая ей явно пришлась по душе. Вскоре она оставила нас. Похмелье вернулось ко мне, еще более тягостное, умеряемое лишь остатками ярости.

— Боже, как жаль, что я вас не застрелил!

Таккер покорно кивнул, он был готов попасть под пулю во имя науки, даже признавал такое право за мной, за божественным мной. Готов был поступиться моей властью над всем на свете, кроме слов, которые я написал или кто-то написал мне, которые по своей природе, нет, по моей природе... да что за чертовщина? Даже сейчас помню, как я ненавидел Таккера, боялся Лиз и злился на бездумную Люсинду. А еще гневался на себя и на невероятность и неопишуемость всего происшедшего фарса. К чему все это мараение бумаги, накручивание сюжетов, построение образов,

хитрые завязки и неожиданные развязки, если в реальном мире из реального мусорного ящика совершенно немислимые действия живых людей вытащили на свет дневной некоторые вещи, которые я тщательно скрывал и думал уже, что избавился от них. Причем никакими моральными доводами утешиться я не мог — сплошная ведь аморалка.

— Таккер.

— Вы меня называли Риком, Уилф.

— Послушайте, Таккер. Завтра вы отсюда уедете. То есть сегодня. И никогда больше не вернетесь. Никогда, никогда, никогда, никогда.

— Вы мне разбиваете сердце, Уилф.

— Идите спать, Бога ради!

Я оперся локтями о стол и обхватил голову. И неизбывное отчаяние охватило меня.

— Идите спать, уходите, убирайтесь. Оставьте меня в покое, в покое...

Его ответ был верхом абсурда, на какой способны лишь фанатичные почитатели.

— Понимаю, Уилф. Это Бремя.

Наконец дверь кухни закрылась. Глубокая жалость к себе заполняла соленой водой мои глазницы. Люсинда, Элизабет, Таккер, книга, которая никак не шла, — слезы заливали мне ладони, как Таккеру его кровь. А в саду утренний хор исполнял оду радости.

Наконец я раскрыл глаза. Да, разумеется, я должен был знать. Доказательство нагло смотрело мне в лицо. Оно стояло рядом с раковиной — бутылка, которую я открыл, но не смог никого уговорить выпить. Она была пустая. Рядом стояла еще одна. Тоже пустая.

Похмелье достигло вершины. Я принялся искать пилюли, украденные у Лиз, которые раньше помогали. За дверью упал мусорный ящик. Я в бешенстве вскочил. Черное с белыми полосами, покрытое щетиной существо бежало вдоль берега к мельничной плотине, надеясь там скрыться в лесу на другом берегу. Мусорное ведро, бак, ящик, *roubelle*, доказательство, обвинение, лежало на боку, а возле него образовался целый хвост из отбросов, ненужных коробок, бутылок, огрызков мяса, яичной скорлупы, указывая направление, в котором скрылся барсук. И в этом месиве написанные от руки, напечатанные на машинке или в типографии, черно-белые и цветные — бумаги, бумаги, бумаги!

Это уж было чересчур. Сельский фестиваль, недельное обозрение всех вчерашних дней, не состоялся. Я побрел по дому, как мне казалось, неслышно. Открыл дверь «нашей» спальни, и меня ослепил яркий дневной свет. Элизабет отвернулась.

— Я не сплю.

— Послушай, Лиз...

— «Жажду быть с тобой. Люсинда».

Я не нашелся что сказать. Забрал со своей кровати пуховое одеяло и побрел в так называемый кабинет. Рассветный хор умолк, и я понимал, что шумы утра понедельника начнутся гораздо раньше, чем моя несчастная голова придет в хоть какой-то порядок. И в этот — нет, не момент, а узел времени — я кое-что понял и вздрогнул — вернее, содрогнулся. В мусорном ящике были еще и обрывки фотографий. Ну почему я, желая избавиться от этих коробок с позором минувших времен, выбросил их в ящик, а не сжег? И почему сказал Таккеру? И почему он такой упрямый, решительный, целеустремленный идиот? Где-то в рассыпанной куче отбросов, мятые, изорванные, вымазанные вареньем или маслом — поди знай, кто из прислуги, или мусорщик, или молочник, — или покоятся в желудке у барсука: важно то, что Рик Л. Таккер и барсук своими утренними подвигами поставили меня под угрозу лишиться жены и доброго имени одновременно. Усердие и вкрадчивая целеустремленность, казавшиеся мне поначалу смешными, теперь выглядели страшнее заразной болезни. Будто вся бумага сделалась липкой, и теперь, будь то сало или мармелад, вы уже никогда от них не отделаетесь, коль единожды замарались. Это бумага-липучка, а я муха. Венерина мухоловка, трава-росянка. Те следы на песке времени, что я сейчас видел, лучше было бы не оставлять.

## Глава II

— А кто такая Люсинда?

Это было началом конца нашего брака с Лиз. Нельзя жениться на женщине, которая на десять лет моложе. Это заняло годы — при наших-то законах о разводе. Мы были, есть и всегда будем прочно связаны — не любовью, не ненавистью, не гнилым компромиссом и не странными отношениями любви-ненависти. Как эту связь ни назови, она была, мы ею упивались, с ней боролись и от нее страдали. Мы абсолютно не подходили друг другу и не могли производить ничего, кроме разногласий. Пока Лиз была здорова, она оставалась строгой моралисткой. Я же, как мне теперь ясно, мог сохранить свою личность, лишь предаваясь пороку. Что порождало необходимость скрывать его — хотя поди догадайся, что именно Лиз знала или подозревала? Этот грязный клочок бумаги послужил катализатором. Будь я проницательнее, я бы узрел в его появлении из мусорного ящика краешек всеохватывающей картины. Люсинда — это до брака с Лиз, а во время событий с барсуком у меня была женщина, которую я вполне успешно скрывал. Ирония судьбы? Око Осириса?

Застигнутый на кухне с Риком Л. Таккером и клочком бумаги, я вынужден был сделать то, к чему совершенно не привык: чистосердечное признание. Вопреки всем ожиданиям (особенно описываемым в романах), Элизабет поняла, но не простила. По зрелом размышлении (старец, сидящий на солнцепеке) я считаю, что ей просто требовался повод. Наши ссоры давно превратились в битвы не на жизнь, а на смерть. Мы были утонченны, но невоспитанны. Я ушел и скрылся в самом неприязнательном из своих клубов, заявив, что оставляю ей дом, сад, конюшни, лошадей, машины, катер, акции, все, что угодно, но больше не могу этого выносить. В клубе нельзя было ночевать дольше положенного срока. Явившись домой за прощением, я обнаружил, что она сама ушла. Написав, что оставляет мне дом, сад, конюшни, лошадей, машины, катер, акции, все, что угодно, но больше не может этого выносить.

Даже тогда мы еще могли сойтись и продолжать вечные пререкания, пока старость и безразличие не даруют нам должной меры юмора. Но тут на горизонте появился этот пижон Валет Бауэрс. Джулиан разложил все по полочкам — движимое, и недвижимое, и всякое прочее, — и брак наш пришел к такому же концу, как всякий брак подобной продолжительности. Единственной, кто пострадал, была бедняжка Эмили, наша дочь. С Хэмфри

Бауэрсом по прозвищу Валет я встречался лишь однажды, в том самом неприязнительном клубе «Ахинеум». Там собираются бумажные людишки, чудаки, имеющие дело с бумагой — от рекламы и комиксов до таких высот духа, как порнография. Самый знаменитый после меня член клуба подписывается «Онаним». Валет Бауэрс взирал на пеструю толпу сквозь переносицу — видимо, он последний англичанин, носящий монокль, — и цедил сквозь зубы, что такого он ни разу еще не видел. После моих настойчивых расспросов он уточнил, что мы все тут изрядная рвань. Надо сказать, этот тип охотился где угодно и на что угодно. К концу недолгого разговора, имевшего целью, как он выразился, «разложить все по полочкам», я едва сдерживался, чтобы не высказать с помощью моего весьма не бедного лексикона все, что думаю о нем, и тут он произнес в простоте душевной: «Знаете, Баркли, вы таки дерьмо». Вот такой он был человек.

Ну ладно.

Свободен в пятьдесят три! Чушь собачья. Просто несусветная чушь. Свобода — вот что мне грозило. Я вам советую: нечего ее и пробовать. Увидите, что она приходит, — бегите. А если она искушает вас бежать, оставайтесь на месте. Можете мне не верить, но мои мысли были заполнены предвкушением секса с воображаемыми девушками, годившимися мне во внучки. Может, поэтому я особенно не возражал, когда Валет Бауэрс поселился вместе с Лиз. Нашу нерушимую, невыносимую связь это никак не затрагивало. Жаль только малышку Эмили. Она убежала из дому, и ее вернула полиция. Я вполне ее понимал. Насколько я слышал, даже лошади не выносили Валета Бауэрса.

Я много ездил. У меня было полно знакомых, но мало друзей. У некоторых я останавливался надолго. Один даже подсунул мне женщину, но она оказалась вдумчивым филологом, структуралистом до мозга костей. Господи, с таким же успехом я мог лечь в постель с Риком Л. Таккером.

Я уехал в Италию, и ироничная судьба тут же занялась мной. Я познакомился с итальянкой примерно своих лет и ветреностью схожей с Апенниннами, как кто-то сказал. Вообще-то она мне нравилась, но что продержало меня при ней больше двух лет, так это *rianoobile*<sup>[3]</sup>, похожий на музей, со слугами, едва скрывавшими презрительные усмешки. Я был настолько груб — о Баркли, Баркли, какой же ты сноб! — что позвонил Элизабет, и Эмили ненадолго приехала ко мне. Она осталась недовольна Италией, замком, моей итальянской подругой и, как ни горько признаться, мной. Дочь уехала, и мы после этого не виделись многие годы.

Все это время, хотя я обращал на это внимание не больше, чем на

назойливую муху, профессор Таккер слал письма, которые Элизабет переправляла мне, пользуясь предлогом заставить меня что-то сделать с моими бумагами. Они были разбросаны по всему дому и прирастали за счет почты каждый день. На письма я не отвечал. Только когда она прислала телеграмму: «РАДИ БОГА, УИЛФ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ТВОИМИ БУМАГАМИ?», я дал ответ: «СОЖГИ К ЧЕРТЯМ». Но Лиз этого не сделала. Она набивала ими буфеты и сваливала в винный погреб. Во всем, что не касалось охоты, Валет Бауэрс был настолько невежествен, что так и не допер, сколько они могли бы стоять на открытом рынке, не говоря уже о неофициальном.

Мой роман с итальянкой близился к концу. Дело в том, что ее вдруг привлекла религия в лице отца Пио. Из любопытства мы пошли на его заутреню, которая, как обычно, завершилась давкой верующих, жаждущих поглядеть на стигматы у этого человека, пока его не унесли помощники. Я был слегка шокирован при виде спокойной, воспитанной женщины, беснующейся вместе с толпой. Наконец она вернулась ко мне, с опущенной вуалью, вся в слезах. Голос ее был исполнен торжествующей скорби:

— Ну как ты теперь можешь сомневаться?

Я разозлился:

— Я видел только, как несчастного старичка уносят с алтаря. И все!

В церкви она больше ничего не сказала, но спор продолжился на заднем сиденье по пути домой. Теперь я понимаю, что каждый из нас был движим некоей силой и ссора была неизбежна. Мною двигало страстное желание доказать, что чудес не бывает.

— Слушай, это же просто истерия!

— Я их видела, говорю тебе, видела эти раны. Господи помилуй, мы недостойны даже говорить об этом!

— Допустим, ты их видела. Что это доказывает?

— Никаких «допустим».

— Люди могут внушить себе все, что угодно. Это как ложная беременность — все симптомы есть, а ребенка нет. Я тебе рассказывал, что было, когда я работал в банке?

— Ты отвратительный тип, Уилфрид Баркли.

— И потом, уже много лет спустя. Посмотри на мою руку. Я был загипнотизирован. То есть в прямом смысле слова, профессионально загипнотизирован. Это было на вечеринке, и я с моей...

— О Боже, я, я, моей, моей...

— Да слушай же! Да. Самоуверенностью. Никогда не думал, что со мной можно сделать подобное. И знаешь, что произошло?

— Не хочу говорить об этом.

— Вот, на тыльной стороне кисти, мои инициалы, пылающие, как шрамы, выжженные...

— Ни слова об этом!

(Но тот человек знал. Это был триумф его силы. И в его улыбке сквозила отвратительная надменность: «Вы очень легко поддаетесь гипнотическому внушению, сэр. Приветствуйте мистера Баркли, дамы и господа!»)

— Послушай, дорогая. Ты не хочешь разговаривать, а я не хочу тебя обидеть — но ты же видишь, что способно сделать внушение!

— Старый человек истекает кровью за тебя изо дня в день, из года в год. Он позволяет Господу располагать собой в двух местах сразу, потому что Его милость слишком велика для одного слабого тела...

Достойная женщина разрыдалась.

После этого мы, естественно, уже не спорили. Установили своего рода перемирие. Я тактично старался держаться от нее подальше. Она отстранилась от меня и превратилась в идеальную хозяйку вроде Лиз. Это производит ужасающее действие. Лучше бы женщины бросались тарелками.

Даже и тогда все могло бы кончиться иначе, если бы меня не отвлекло другое дело. Мне приходилось выступать с лекциями. Удивительно, что человеку, окончившему в свое время пять классов, приходится иметь дело с таким количеством ученых. По правде говоря, то, что поначалу просто раздражало, потом мне наскучило — даже хуже. Как я уже сказал, меня иногда призывали читать лекции на благо родины. И я законопослушно это делал — на научных конференциях. Понимаете, можно, конечно, говорить, что Уилфрид Баркли — невежда, едва знающий латынь и греческий, с грехом пополам изъясняющийся на нескольких живых языках и прочитавший гораздо больше плохих книг, нежели хороших, однако кое-что я проделываю очень ловко. Ученым приходится сквозь зубы признать, что, как бы там ни было, я действительно предмет их изучения. Повторяю, все, что у меня было, — это немножко наглости, несколько абсурдное чувство долга перед своей страной, а иногда еще и интерес к незнакомому месту. Прошло немало времени, пока грянул гром. И громом оказался, как ни странно, барсук из мусорного ящика — Рик Л. Таккер.

Как раз когда произошел скандал из-за стигматов и моя итальянская подруга стала вести себя как чопорная леди, мне надо было ехать в Испанию. Я подумывал отбыть незаметно, но быстро пришел к выводу, что будет еще хуже. Теперь я понимаю, что надо было исчезнуть, не прощаясь.



— Ну вот, я уезжаю.

Она не стала смотреть мне в глаза, а повернула голову ровно настолько, чтобы ее профиль обрисовывался на фоне потертых гобеленов.

— Достаточно.

— Чего?

— Нас двоих. Достаточно.

— Почему?

— Достаточно, и все.

Я перебрал в уме кучу причин. Рассуждал о том, как неуклюже реагировал на отца Пио, и решил предложить ей поехать к бедному старцу и дать обратить себя по возвращении. Время, думал я, великий лекарь.

— Когда вернусь, мы поговорим.

— Убирайся! Уходи! Вон!

Будто этого было недостаточно, она обрушила на меня поток итальянской, как мне кажется, отборной брани, из которой я с трудом разобрал, как она относится ко мне, к протестантам, к мужчинам вообще и к англичанам, воплощением коих я являюсь, в частности.

Итак, я отбыл на конференцию в Севилью, на старую табачную фабрику, где в свое время, если кто помнит, Кармен виляла бедрами, но теперь там всего лишь университет. Обычно на конференциях я держусь подальше от зала до самого последнего дня, когда приходит мой черед выступать. Но когда я спросил пригласившего меня профессора, водятся ли еще у них Кармен, тот ответил: «Да, сколько угодно», и я пошел, забыв, что сейчас каникулы.

На трибуне, которую я должен был почтить собой позднее, стоял Рик Таккер, еще более здоровенный, чем прежде, и зачитывал объемистую рукопись. Кучка профессоров, преподавателей и аспирантов из всех сил боролась со сном вопреки усилиям профессора Таккера. Я сел на один из стульев позади и приготовился подремать.

Разбудило меня упоминание моего имени в по-американски бесцветной речи Таккера. Уткнувшись в рукопись, он рассуждал о придаточных относительных предложениях в моем творчестве. Он их пересчитал — во всех книгах. Составил график, так что если аудитория обратится к приложению тридцать семь в материалах, любезно розданных оргкомитетом конференции, то сможет найти этот график и проследить за его выводами. Там и сям головы кивали, а затем снова клонились вниз. Сидящий передо мной мужчина уперся лбом в спинку стула, и до меня донесся легкий храп. Несколько женщин делали вид, что конспектируют. Тем же бесцветным тоном профессор Таккер указывал на существенные

различия между его графиком и тем, который составил японский профессор Хиросиге (фамилия звучала вроде бы так), ибо похоже, что профессор Хиросиге, к нашему удивлению, не справился с домашним заданием и допустил колоссальную ошибку — перепутал сложносочиненные предложения со сложноподчиненными. Вообще профессору Хиросиге следовало бы отстраниться и уступить место признанному специалисту, который из уст самого автора слышал, что тот терпеть не может столь откровенно широкой интерпретации его иконографии абсолютного, или нечто похожее.

Я сидел польщенный, потому что эти слова легонько щекотали пятки моему самолюбию, и тут Рик Таккер, перевернув страницу, поднял взгляд на аудиторию. Повторилась сцена в мусорном ящике. То ли «ги-и», то ли «гу-у». Потом его голос упал, а лицо потемнело. Внимательно вслушиваясь, я понял, в чем дело. Он втягивал подбородок за воротник. Он был не из тех, кто способен отступить от писаного текста. Поток напечатанных слов неотвратно влек его туда, куда, насколько я понимал, ему вовсе не хотелось. Давясь словами, он утверждал, что поддерживает со мной тесные личные отношения и что (более опытный филолог тут промолчал бы, сознавая, насколько это скользко) все, что он говорит замершей аудитории, согласовано в беседах со мной. Потом, видимо, увидев в записях еще более смелое утверждение насчет духовной близости с выдающимся автором, он замялся, перелистал сразу две страницы, после чего уронил всю рукопись с кафедры, и листы голубями разлетелись по полу. Аудитория проснулась, а я, пользуясь замешательством, выскользнул. На следующий день, выполняя государственной важности задание, я обшаривал взглядом аудиторию в поисках Рика, надеясь показать ему, что я могу сделать с человеком, публично возглашающим о тесной дружбе со мной, но его нигде не было. Интересно почему? Такая застенчивость совсем не в его стиле. После я забыл об этой истории, потому что по возвращении в Италию все обернулось полным абсурдом и я получил удар с совершенно неожиданной стороны. Смесь эксцентричности, подлости и царственного умопомешательства. Я готов был к великодушному прощению, когда на аэродроме меня не встретила машина; но ворота замка были заперты на замок и перекладину. Под зеленым тентом у ворот стояли несколько чемоданов, старательно, прямо скажем, любовно упакованных, с моими вещами. Вот уж слуги потешились. Я сидел в такси с большим томом, содержащим все это дерьмо с конференции, и размышлял, куда же мне теперь податься. Вот так меня выпороли по-итальянски.

На мое счастье, «Колдхарбор» по-прежнему хорошо продавался — он

идет и по сегодняшний день, а «Все мы как бараны» вообще была рекорд популярности, так что с деньгами проблем не было. И не нужен был никакой вымысел, в чем я убедился, листая доклады с конференции. Вот что превратило всю эту цепь событий — итальянская любовница, отец Пио, стигматы, Рик Л. Таккер с таблицей моих относительных предложений — в важнейший, как я теперь понимаю, поворот в моей жизни. Ибо в тот вечер в номере отеля мне нечего было читать, кроме этих докладов, и я внимательно читал их.

«Колдхарбор», конечно, был удачей. Но и следующие книги оказались неплохими. Там были места, моменты, целые эпизоды, которые сияли, которые были проникнуты истинной болью, страданием — и все впустую. Я понял, что писал их для единственного читателя — самого себя, который никогда не перечитывал написанного. Выступления на конференции основывались на определенных убеждениях. Например, в том, что можно постичь целое, разъяв его на части. Или что ничего нового не существует. Когда читаешь книгу, встает вопрос: из каких других книг она проистекает? Не могу сказать, что узрел свет истины — в конце концов, чем же еще заниматься филологам? — но зато я понял, как легко можно будет сочинить следующую книгу. Там я ее и написал, на берегу Тразименского озера. Мне не нужно было выдумывать, погружаться, страдать, переносить все эти вовсе не обязательные муки в поисках неудобочитаемого. Там, в отрогах Апеннин, история рода моей бывшей приятельницы была как на ладони. Вот я и сочинил «Хищных птиц» буквально с ходу, вложив в нее не более пяти процентов самого себя — причем не лучшие пять процентов, отправил своему агенту вместе с адресом до востребования и укатил в прокатной машине.

Я переходил из среднего возраста в более почтенный, и мне это вовсе не нравилось. Вот, например, память. То тут, то там в ней обнаруживались провалы. Экс-подругу я забыл чрезвычайно быстро, а книгу «Хищные птицы» еще быстрее. Друзья перешли в разряд знакомых. Поскольку писем в наши дни никто не пишет, они скоро исчезли совсем.

А я рулил. В следующие два года — я так думаю, но я никогда не уверен в дате, промежутке времени и возрасте, включая собственный, — я изучил все основные дороги Европы и смежных стран. Исколесил все хайвеи, шоссе, магистрали, автострады, автобаны от Финляндии до Кадиса. Пока мог, объездил все побережье Северной Африки и часть Западной. Машины брал напрокат. Если возникала потребность писать, покупал машинку. Дневник вел от руки, но перечитывать его оказалось делом неимоверно скучным и тошнотворным. Тем не менее я всегда записывал

хотя бы строчку в день. Это была обязанность такого же рода, что чистить зубы по утрам. Довольно дешевая, но и эффективная среда дороги в любой стране, ее духовная пустота, ее претензия переносить вас в другое место, оставляя на самом деле неподвижным в той же, всюду одинаковой, бетонной пустыне — вот какой интернационализм стал моим образом жизни. Дорога сделалась моей родиной. Мне так и не попалась та юная дева из похотливых помыслов, о чем я и не жалел. «Время незаметно делает свою грязную работу». Прошли те годы, когда женщины сначала посматривали на меня, а потом уже им говорили, кто я такой. Теперь в тех редких случаях, когда я попадал в общество, женщинам говорили, кто я такой, и тогда уже они смотрели на меня. Любопытное повторение тех, прежних лет, когда уже вышел «Колдхарбор», но я еще не женился на Лиз. В те времена я отправился на два года в Штаты — страну Набокова, скажете вы, — торговать своими лекциями в академической карусели. После я побывал в Южной Америке — ладно, об этом не будем. Ну а теперь была Европа с ответвлениями. Кстати, у меня есть хобби, непонятно откуда, выискивать витражи, просто ради удовольствия, о них я никогда не пишу. Просто люблю смотреть. Вообще-то я настоящий специалист по витражам, только этого никто не знает. Любую оконную роспись я готов датировать с точностью до десятилетия и готов отстаивать свою оценку, хотя мне никогда не приходилось этого делать. Из-за своего эксцентричного увлечения я посещаю множество церквей. Можете подозревать меня в чем угодно с отцом Пио и церквями, но хочу сразу четко заявить — хотя, например, в Шартрском соборе я простоял многие часы, ничего религиозного в этом моем интересе нет. Это искусство, это способ не дать свету попасть в помещение, если вы этого не хотите. Кроме того, в церквях почти всегда сумрачно и прохладно, и в них хорошо отходится с похмелья. Думаю, здесь следует отметить, что в то время я пил много, а иногда и более чем «много». Вслед за «Хищными птицами», вернее, за снятым по ним фильмом, я писал путевые очерки и рассказы — попытки обмануть публику. Рассказы предназначались для глянцевого журнала. Они основывались на экзотике мест, где я получал до востребования газеты, деньги и письма. В рассказах царила мишурная описательность, при минимуме событий и образов, но все они были «с гарниром», как выражаются французы, из национальных костюмов, которые сейчас только и увидишь, что на фестивалях народного творчества. После того как моя итальянка столь грубо оборвала нашу связь, я оставил всякие попытки угождать женщинам. Я культивировал в себе полнейшее безразличие. Иногда в момент задумчивости накатывала волна удивления, и я восклицал

про себя: «Неужели это ты?» Но это был я; под шестьдесят я ограничился тем, что меньше всего нуждается в мыслях и чувствах. Остались глаза и аппетит. В ответ на любой вопрос я улетаю. И опять дорога, дорога, дорога. Если я задумывался, куда еду, то тут же улетаю. Перебрав в одном месте, я улетаю в другое. Если мне наскучивал вид из окна бара или кафе, что ж, мне говорили о хребтах Брахмапутры, так слетаю-ка я в Калькутту.

Но что-то мне при этом слегка мешало. Можете назвать это слабеньким, отдаленным ощущением Лиз: но вот я написал и вижу, что совсем не в том дело.

Тут трудно объяснить. Я так и не справился с тем, что она мне постоянно виделась. На самом деле я ее ни разу не видел после отъезда из Англии. Но вот я сижу в уличном кафе за круглым белым столиком, которые так же напрочь лишены индивидуальности, как и дороги, и смотрю, как туристы вслед за гидом гуськом огибают угол, направляясь в галерею Уффици, и когда они проходят, вдруг вспоминаю — ну, конечно же! Ее жест, ее платье, ее голос. Я даже вскакиваю и делаю шаг, чтобы догнать, но тут же соображаю: если даже это действительно она, то что это даст? Я спускался по лестнице, выходя от массажиста в Брисбене, и посторонился, пропуская женщину наверх; а когда она зашла в кабинет, я рванулся вслед за ней, а потом вспомнил Валета Бауэrsa и побрел прочь. Иногда я пугался этой навязчивой идеи, но потом нашел ей объяснение. Мне попало описание кругосветного путешествия, которое один умный человек совершил в одиночку — умный, потому что, как и я, пытался бежать от всего. Ему слышались голоса, и рюкзак стал нашептывать то, что он просто не мог понять. Вот и я не видел Элизабет в своем намеренном одиночестве среди толпы. Пока я сидел в замке итальянской подружки — вернее, пока подружка держала меня в замке, — эти якобы встречи не происходили. Теперь подружка коленопреклоненно молилась, а я остался один. Думаю, время меня излечит. Ха и так далее.

Но тут крылась одна сложность. Я общался с официантками, горничными, портье, хозяйками. Делил стол с каким-нибудь международным бродягой — таким же перекаати-полем, как и я. Помню, будучи только слегка пьян, я заспорил с незнакомцем, в какой стране мы находимся, и каждый остался при своем мнении. Кто из нас был прав, не помню — по-моему, никто. Ну и обычная болтовня в барах. И все равно понемногу до меня доходило, насколько я одинок.

Как это все запутано! Но мне уже стукнуло шестьдесят, когда я полетел в Цюрих и слишком много принял в самолете. Короче говоря, мне требовалось отойти, и врач в аэропорту присоветовал Швиллен на

Цюрихском озере.

## Глава III

Итак, я совершил еще один из предначертанных шагов в жизни. Швиллен был неизбежен, как и встреча с ними. Это случилось в первое же утро там, когда я слегка выпил, не так чтоб очень, и чувствовал себя превосходно. Я поднялся на небольшой утес над озером, — где стоял памятник каким-то литовцам. Был там, естественно, замок, при нем парк, а в парке выкрашенные зеленым скамьи. На одну из них я и сел. Помню, я с глубоким удовлетворением рассуждал об аристократических фамилиях, происходящих от названий сыров, или наоборот. Воистину *le gratin*<sup>[4]</sup>! И тут я заметил, что солнце мне загораживает здоровенная фигура.

— Уилфрид Баркли, сэр? Уилф?

— Господи милостивый.

— Позвольте...

Ох и огромный же он был. Или это я усох.

— Я не могу помешать вам сесть, не так ли?

— Как я рад видеть вас!

— Как поживают мои придаточные предложения?

— Позвольте объяснить, Уилф...

— Не затрудняйтесь. Идите себе и дальше сеять разумное...

— У меня годовой отпуск. Полагается раз в семь лет.

— Неужели столько прошло? По-моему, это было вчера.

— Семь лет, Уилф, сэр.

— Вы семь лет работали на Лию. Она уже должна бы ослепнуть<sup>[5]</sup>.

— Нет, сэр. Это Мэри-Лу. Полагаю, вы с ней не знакомы. Вот она.

Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал глазами. На дорожке, рядом с которой мы сидели, появилась девушка. Совсем юная, лет двадцати. Бледное лицо, копна темных волос. И сама тонкая, словно сигарета.

— Мэри-Лу, посмотри, кто здесь!

— Мистер Баркли?

— Уилфрид Баркли.

— Мэри-Лу Таккер.

Рик смотрел на нее с гордостью и нежностью.

— Она ваша ревностная поклонница, Уилф.

— О-о, мистер Баркли...

— Уилф, с вашего разрешения. Ну вы себе и отхватили, Рик!

Я мгновенно сбросил сорок лет. Точнее, я чувствовал себя так, будто сбросил сорок лет. И Рик стал моим другом. Оба они стали друзьями, в особенности она.

— Поздравляю, Мэри-Лу!

Почему-то было очевидно, что они поженились буквально вчера, во всяком случае, вид у нее был именно такой, она вся прямо светилась. Я обнял ее и поцеловал. Не знаю, как она воспринимала запах швейцарского вина «доль», которое я выпил с утра пораньше. Я отстранил ее и присмотрелся к лицу — от тонких бровей до деликатного горла. Кровь у нее прилила к щекам — на мгновение, потому что в следующую секунду они побледнели, после чего к ним снова прилила кровь. Все, что происходило у этой изящной девочки внутри, мгновенно отражалось на лице; впрочем, идти было недалеко.

— Запоздало поздравляю, Мэри-Лу. Муж и жена — одна сатана, и поскольку я не могу поцеловать Рика...

Таккер издал сдавленный смешок:

— ...то отыгрываетесь на Мэри-Лу! Так, не шевелитесь!

С поразительной скоростью он извлек из рукава мини-камеру, словно стилет. Этот снимок, видимо, до сих пор хранится в каком-то пыльном шкафу, скорее всего в библиотеке Астраханского университета, штат Небраска. Вот Мэри-Лу, ее красота смазана при мгновенной съемке, вот моя пегая клочковатая борода, полуседая шевелюра и далеко не полный набор зубов. Ее мягкость и теплоту камера уловить не могла. Это можно было бы назвать близким контактом второго рода, не просто образ девушки, а нечто ощупываемое, податливое, пахнущее духами — к такому я не привык, и все мои сдерживающие центры отказали. Мою правую руку просто захлестнуло волной сквозь тонкую ткань на ее талии. Мое стареющее сердце пропустило целый такт, а несколько других сбились с темпа. Она была совершенна, как роза из колючей изгороди.

— Уилф, у вас с Мэри-Лу сложатся замечательные отношения. Она ведь специализировалась...

Мэри-Лу несмело возразила:

— Мил, не следует...

Но он уставился мне прямо в глаза:

— Господи, Уилф, Элизабет замечательная женщина, и мне крайне жаль.

— О, мистер Баркли...

— Уилф. Попробуйте сказать «Уилф».

— Я не осмелюсь!



— Ничего, ничего. Давайте, скажите!

— Нет-нет, не могу...

Мы смеялись и говорили все сразу. Рик грозился побить ее, если она не скажет, а я интересовался, что именно она должна сказать, а она восхитительно смеялась и клялась, что, нет, она не может, и вдруг...

— О, мистер Баркли, этот чудный старый дом...

Верьте или нет, до меня сразу не дошло. Только потом я сообразил, что они явились сюда напрямик из моего некогда чудного старого дома. Дурацкий смех оборвался, и настала пауза, словно в ожидании следующего акта.

— Идемте. Почему бы нам не сесть?

В парке была скамья. Я сел в середине, Рик слева, а Мэри-Лу застенчиво примостилась по правую руку.

— Уилф, — многозначительно начал Рик, — я должен задать вопрос.

— Только не о книгах, Бога ради.

— Нет, нет, но... Надеюсь, вы один?

— Постоянного спутника у меня нет. Близких друзей тоже. Меня не видят постоянно в обществе кого бы то ни было. Знаете, Мэри-Лу, мне шестьдесят!

Я смолк, надеясь, что Мэри-Лу выразит удивление. В конце концов, я и сам немало удивлялся. Но она серьезно кивнула:

— Я знаю.

Рик наклонился ко мне:

— Вы пишете, Уилф?

Он снова начинал меня раздражать. Я что-то пробурчал. Рик кивнул:

— Такая глубокая травма.

— Господи, уже прошли годы — если вы имеете в виду... мой роман в Италии.

— Все равно...

— Полная перемена образа жизни. Никаких иллюзий. Могу подкатываться к любой девушке, и никто мне не скажет «нельзя», кроме самой девушки.

Мэри-Лу заерзала на скамейке. В конце концов, я дышал ей в лицо. Наверное, мама ее учила, что мужчинам нельзя доверять ни в чем. Так и есть. Действительно нельзя.

Рик расхохотался так, словно мы беседовали в матросском кубрике.

— Спорю, они этого не говорят!

— Хотите пари?

— Не на мой оклад. Я всего лишь адъюнкт-профессор.

— Адъюнкт? Вы же были полным профессором!

— Честно говоря, Уилф...

— Так было написано в вашем письме, которое в том чудном старом доме до сих пор валяется в каком-то чулане: кафедры английского языка и сопутствующих предметов Астраханского университета, штат Небраска. Я это хорошо помню, потому что оно-то и привело к событиям той ночи.

— Уилф, я не стал бы...

Голос его упал, как в Севилье. Мэри-Лу сидела прямая как палка и смотрела прямо перед собой. Она сглотнула слюну восхитительным движением евина яблока и заговорила, не поворачивая головы:

— Вспомни, мил. Сбрось камень с души.

— Но, мил...

— Лучше скажи мистеру Баркли, мил. Иначе ты никогда не сможешь уснуть спокойно.

— В чем дело? Я о чем-то не знаю?

— Мистер Баркли. Он тогда не был профессором. Он был всего лишь аспирантом и занял у матери деньги, чтобы поехать к вам на каникулах.

— Я был в отчаянии, Уилф. Вы были моей, моей...

— Курсовой работой?

— Темой диссертации. Это было официально, Уилф.

— Только помните, мистер Баркли, она была малоприятной личностью. Рик о ней рассказывал.

— О ком?

— Об Элле. Я довольна, мил, что ты признался, что не был тогда профессором.

— Я тоже доволен, мил. Теперь, когда я вам рассказал, Уилф...

— Рассказала Мэри-Лу. Муж и жена...

Но Рик уставился на Мэри-Лу взглядом, отнюдь не исполненным обожания.

— ...а теперь я штатный адъюнкт-профессор и получил академический отпуск.

— Я знаю, тебе стало легче, мил. Теперь продолжай в том же духе, мил. Так бывает лучше. Всегда.

За деревьями ярко сияло солнце, листва отбрасывала тень на гальку. Крохотные волны на озере отблескивали на солнце. Мне стало смешно.

— Я совсем забыл, что такое разговаривать с вами — это получается своего рода чрезатлантический жаргон, так, что ли?

Я запустил руку за спинку скамьи.

— Итак, Рик сознался, Мэри-Лу. А вы? Вам есть чего стыдиться?

— Боюсь, что нет.

Она легонько отодвинулась от меня.

— Не уходите!

— Не в том дело, Уилф. Она ничего не строит из себя. Она знает, как вы благородны. Я ей рассказывал.

— Так и есть, — самодовольно подтвердил я. — Что у вас там, Мэри-Лу? Алмазы из короны или лунный камень?

Мэри-Лу изящно соскользнула с краешка скамьи. И тут же встала, стряхивая пыль со своей мини-юбочки.

— Я вернусь, мил. Вам тут столько нужно обсудить.

Она удалилась быстрым шагом. Холодный ветер по ту сторону утеса вздымал рябь на озере. Почему-то мне вспомнился мусорный ящик.

— Рик. Вы махинатор. Пройдоха. Мои поздравления. Это гораздо интереснее, чем филология.

— Что я вам хочу сказать, Уилф, — я собирался стать профессором. Я знал, что стану им.

— Жулики всегда знают, что разбогатеют.

— Но я знал!

— В конце концов, что такое профессор? В молодости я считал, что профессор — это о-го-го. Да они ничуть не лучше писателей. Я их употребляю на завтрак. Вкус другой, только и всего.

— Критики, Уилф! Они возносят и низвергают!

— А Джон Кроу Рансом? Из вашего письма я вынес впечатление, что он вполне реальная личность. Ему вы тоже представились профессором?

Лицо у Рика сделалось цвета уже не моркови, а свеклы. Поскольку я смотрел на него сбоку, язык его движений предстал передо мной с новой стороны. Много лет назад он явился ко мне, исполненный решимости загнать меня в клетку, где, по слухам, было опасно. Позже, на той конференции, мне почему-то показалось своего рода иллюзией то, как он втягивал подбородок в шею и выглядывал исподлобья. Но нет, действительно пугало то, как Рик оттягивает назад нижнюю часть лица, выставляет вперед лоб, чтобы выглядеть, как ему хотелось бы, мужественным, и посматривает из-под бровей, словно краб, спрятавшийся под камнем. Именно это он и проделывал сейчас, причем даже не для меня. Это дошло у него до автоматизма, и сейчас он выставлял лоб навстречу озеру, будто показывая, что не боится грозной ряби.

— Продолжайте же, Рик, — вперед!

— Все началось с ошибки моей... нашей... секретарши кафедры. Эллы. Я начал получать письма, адресованные профессору Таккеру. Так

играли со всеми, это просто рекламный прием, грубая лесть.

— Так вы взяли адрес из коммерческого справочника. Bravo!

— Вы не представляете, что для меня значили ваши произведения.

— Если кто-то узнает, какой вы проходимец, вас с позором выставят из славного племени филологов.

— Это все шуточки той проклятой девицы. Ну и я тоже, надо признаться. Я этому попустительствовал.

— Как же вы рисковали. Поздравляю!

— Но игра того стоила. Ее ошибка принесла мне, будем надеяться, доброе знакомство с вами, благодаря ей мы сидим вот тут рядом.

— А как мы еще можем сидеть, черт побери?

— Эта девушка, Уилф... — Подбородок втянут, набыченный лоб грозит свинцовым водам. — Я ей нравился. Она думала, что помогает мне.

— А Джон Кроу Рансом?

— Я и правда забыл, Уилф. Действительно забыл. Мы с ним не встречались.

Я заметил, что на воде вдруг прекратилось всякое движение.

— Какое это имеет значение? Завтра я уеду. Тогда Мэри-Лу сможет сидеть на этой скамейке, не рискуя свалиться с нее.

Наступило молчание. Его нарушил Рик:

— Но вы же пообедаете с нами сегодня?

— Втроем?

— Разумеется.

— Ладно. Я угощаю. Привилегия старика. Единственная.

— Мэри-Лу застенчива, Уилф. Всегда была такая. Но она знает, какой вы душевный человек под этим британским панцирем.

— А я-то считал себя космополитом.

Рик поднялся и торжественно провозгласил:

— Мы всегда считали вас, сэр, образцом для подражания, делающим честь вашей великой стране.

Он отправился вниз вслед за женой. Я остался на скамейке, кивая, словно фарфоровый болванчик, и бормоча: «Перед Мэри закрой двери, а у Рика рожа дика».

Вслух же я произнес гнусную фразу:

— Надеюсь, что это именно так в данной чрезвычайной ситуации.

Очень быстро ко мне вернулся здравый смысл. Они были в «чудном старом доме». И не просто так. Они выудили у Элизабет или у моего агента адреса до востребования. Я — объект исследований Рика. Я для него сырье, золотая жила, ферма, охотничьи угодья.

Но откуда у него деньги, чтобы гоняться за мной? Это дорого, как я знал из своих прежних попыток отсылать письма обратно.

Я подумал об этой девушке, Мэри-Лу, с просвечивающим лицом такой красоты, что за ним, несомненно, должны таиться святость и мудрость. Не то что в бедном старом падре!

— Наверное, перевоплощение.

Девушка, которую встречаешь раз в семь — нет, четырнадцать — лет, которую встречаешь, когда уже слишком поздно. Свой телячий восторг при ее появлении я расценил как симптом приближающегося маразма. Я догадывался, как у меня несет изо рта этим самым выпитым с утра вином «доль». Для Рика в этой встрече заключено очень многое. Для Мэри-Лу — возможность с отвращением преклоняться перед человеком, чьи книги она читала. Но для меня она не сулила ничего, кроме неприятностей, подавленного настроения и безрассудства. Я решил раздавить этот росток будущего, пока он еще не пустил побегов. Пусть гоняются за кем-то другим. Мало, что ли, на свете писателей, да их тысячи; и у всех лбы настолько непробиваемы и жизненный путь настолько прям, что они могут спокойно выдержать самое страшное оружие против себя — обыкновенную правду. А вот я...

На этой окрашенной в зеленый цвет скамье передо мной прошла череда картин из прошлого. Я вскочил с нее и поспешил в отель. Управляющему я объяснил, что нуждаюсь в одиночестве. Он тут же порекомендовал Вайсвальд — лыжный курорт, поднявшийся ввысь навстречу солнцу, а сейчас, вне сезона, пустующий. Мне следует остановиться в отеле «Фельзенблик». В других, конечно, чистенько, но не более того. Я кивнул, расплатился, собрал вещи, дал адрес отеля «Бун-Хо» в Гонконге и исчез.

У подножия Вайсвальда находится огромный гараж, а за ним остановка фуникулера, который возносится к вершине почти вертикальной горы. Всю дорогу я просидел с закрытыми глазами. Я патологически боюсь высоты, потому она меня и восхищает. Более того, я берег возможность полюбоваться горными видами до момента, когда окажусь на ровном месте и они не будут вызывать у меня потребности прыгнуть вниз. Пока носильщик вел меня в отель, я смотрел себе под ноги. Управляющий предложил номер люкс, не иначе, за половинную цену и с балконом, нависающим над пропастью. Он распахнул дверь и провел меня.

— Смотрите сами!

Половину стены гостиной занимало сплошное окно до пола, открывавшееся на балкон. А за ним пять миль пустоты. Управляющий

распахнул окна и пригласил меня выйти. Я осторожно выглянул через стекло. Балкон казался более или менее надежным.

— Это лучший номер, — сказал управляющий, — действительно самый лучший.

Если бы я был в состоянии пройти три шага, то мог бы плюнуть с семисотметровой высоты — при условии, что еще был бы в состоянии плевать.

— Это для вас. Отличное место для писателя.

— Кто вам сказал, что я писатель?

— Мой брат, управляющий в «Шиффе». Люкс и этот вид — все для вас. Дешево.

Значит, меня отфутболивают из одного семейного бизнеса в другой. Я боязливо посмотрел на крохотную, словно игрушечную, железную дорогу в километре ниже, потом перевел взгляд на более близкие комнатные растения. На балконе находились выкрашенный в белое чугунный стол, точно такой, как в «Шиффе», четыре белых стула и белый шезлонг.

— С моей машиной ничего не случится? Там было не заперто.

— Машина, сэр?

— Гараж.

— То и другое будет в полном порядке, заперто или не заперто.

Настала пауза. Вид менялся с каждой минутой. Черный утес венчала высоченная ледяная шапка.

— Что это?

— Где, сэр?

— Вон там.

— Шпурли. Водопад. Сейчас мало снега, и он еле виден. Он берет начало вон в той долине, где наша армия проводит учения...

— Там? Немыслимо!

— Правду сказать, я там был. И бываю каждый год. Я же майор. Теперь — настоятельная рекомендация. День или два вам не следует ходить на прогулки.

— Вы хотите сказать, что мне нужно акклиматизироваться?

— Сразу видно британца, разве нет? Наши американские гости говорят «акклиматизироваться».

— Но я же был в Цюрихе.

Управляющий сделал презрительный жест, словно различие между Цюрихом и Ла-Маншем столь ничтожно, что и говорить не о чем.

— Тем не менее вы уже не слишком молоды, мистер Баркли, и вам следует отдохнуть пару дней.

— Постараюсь не забыть.

— А такой вид перед глазами, надеюсь, послужит источником, скажем так, вдохновения, и вы нас одарите выдающимся творением, сэр. Вот звонок. Всегда к вашим услугам.

Управляющий отклонялся. Я сделал шаг вперед. Я не смотрел вниз, прислонясь к перилам, — на такой жест способны только герои. Я оттащил шезлонг подальше от перил, закутался в стеганое одеяло из спальни, вытянул ноги и наслаждался видом. Он все менялся, открывая новые и новые причудливые фантазии из снега и камня. Появлялись склоны, где явно имелись пещеры, а черная скала, с которой стекал Шпурли, превращалась в серую, затем в бурую. Я лежал, давая природе удивлять себя. Ей это удалось в некоторой степени. Ибо управляющий, разумеется, был не прав. Я побывал в слишком многих местах, навидался всякой экзотики выше головы. Как бы там ни было, величественные виды ни разу не вдохновили писателя или художника. Они лишь служили оправданием для ничегонеделания. В лучшем случае восхитительный вид остается в памяти писателя. Он отпечатывается там. Вот я и смотрел, как появляются пики на заднем плане, а потом ближайший из них оказался белым облачком. Но мы же видели такие сцены, видели Гималаи, Анды, Сахару, штормы на море, безоблачные, безлунные ночи, не отравленные городской подсветкой, видели чудеса подводного мира и тропические джунгли — ха и так далее. Что действительно нужно писателю, так это каменная стена, желательно глухая, чтобы через нее не было видно естественного пейзажа. Я понял, что еще неделя пропала впустую.

Тем не менее, размышляя обо всем этом и попивая «доль», я наблюдал швейцарский пейзаж несколько часов подряд. Неужели я все-таки романтик, спросил я себя. Вряд ли. Романтика никуда не ведет, удовольствие — это конец самого себя, оно не приносит возвышенных, духовных мыслей. Высшая степень гедонизма — человек, который становится своими собственными глазами. К концу дня «доль» и избыток кислорода сделали свое дело — я уснул.

Проснулся я, когда солнце садилось за западным краем балкона. Голова была ясной, хотя я и опорожнил бутылку «доля». Неужели из-за открывающегося вида? Мне пришла детская идея добавить строфу к стихотворению Шелли, воспев горы как лекарство от *gueule-de-bois*<sup>[6]</sup>, вроде Шартрского собора. При этой мысли душевная пустота от общения с Матерью Природой заполнилась потребностью выпить. Я выбрался из-под одеяла, сходил в туалет и занялся поисками бара, который оказался недалеко. В наказание себе за «доль» я потребовал дикую смесь по

собственному рецепту, в которую входили, среди прочего, «алка-зельцер» и «ферне бранка». По цвету моя смесь напоминала понос. Даже управляющий, он же по совместительству и бармен, был поражен. Он не понял и моего заявления, что я наказываю бутылку «доля», но исполнил то, что я сказал. Я бичевал свое нёбо отвратительным пойлом, поздравляя себя с непосредственным восприятием красот природы и отмечая удачный побег от опасностей эмоциализма в тихую гавань, как вдруг за плечом у меня возникла высоченная массивная фигура.



## Глава IV

Это был, как и следовало ожидать, адъюнкт-профессор Астраханского университета Рик Л. Таккер. Он был облачен в Lederhosen — длинные кожаные штаны с лоснящимся верхом и сапоги на таких толстых подошвах, словно к ним прилипли куски асфальта. Поверх рубашки с расстегнутым воротом был надет свитер с вышитой надписью «АСТРОХАМ». Мне показалось, что это прямое напоминание о том, что он вытворял в моем доме семь лет назад. Но нет, то было просто ироническое наименование его родного университета. Буквы бежали во всю ширь его мощной груди. Раскрасневшись от целебного горного воздуха, он казался еще выше и еще громаднее. Я долго всматривался в его щеки и нос. Когда я возмущенным движением повернулся к нему, он втянул подбородок лишь чуть-чуть.

— Привет, Уилф! Вижу, вам пришла в голову та же идея, что и нам!

— Только не пустите слезу.

— Мэри-Лу, посмотри, кто здесь!

Я осмотрелся. Мэри-Лу вяло улыбнулась с ручки громадного кресла в темном углу.

— Привет, Мэри-Лу.

— Мистер Баркли.

— Уилф.

Она не ответила, но вид у нее был растерянный. Мне вдруг показалось, что все, что бывает хорошего в жизни, сошлось в ней, — нет, нет, этого не может быть, не должно быть!

— Твой сок, мил.

— Что-то мне не хочется соку, мил.

Рик повернулся ко мне.

— Мэри-Лу плохо переносит высоту.

— Девушка с уровня моря.

Я с усилием отвел взгляд.

— Мил?

Я невольно обернулся. Мэри-Лу закрывала рот руками. Ее большие глаза сделались огромными. Она пыталась слезть с кресла.

— Вы что, не видите, дурень? Ей же плохо!

Мэри-Лу сложилась пополам. Рик со стаканами в руках рванул одновременно в сторону бара и к двери. Мэри-Лу стремглав выскочила. Управляющий сокрушенно смотрел на разор. Он что-то прокричал в дверь

позади бара. Оттуда, словно давно ожидая такого события, выплыла толстая седовласая женщина с ведром и тряпкой. Рик добросовестно отводил Мэри-Лу в номер. Я наблюдал эту сцену с отрешенностью человека, употреблявшего еще большую гадость. Взяв бокал с жидкостью цвета поноса, я выбрался на свежий воздух. На маленькой площадке, заканчивавшейся ужасной бездной, стояли круглые чугунные столы (как всюду, где я только ни был). Я сел за стол, такой же, как во Флоренции, Париже или, скажем, Сент-Луисе. Где я? Всегда в движении, мечусь. Это управляющий отелем в Швиллене меня продал. Я просто не сумел замести следы. В следующий раз...

Я поднялся, сделал несколько шагов по тропинке, которая вела на горные луга, и почувствовал смертельную слабость. Мне еле хватило сил добрести до того же стола. Время шло.

Рик сидел рядом и что-то говорил. Он живописал ближайшее будущее. Нам предстоят четыре замечательные прогулки. Он сходит на разведку, пока я завтра буду акклиматизироваться. Ему-то акклиматизироваться не нужно, он всю жизнь провел на высоте. Говорят, в одном месте придется карабкаться. Я откинулся на стуле и кивнул, при этом мой подбородок упал на грудь.

Мэри-Лу спускалась по поросшей цветами дорожке. Она рассуждала о незыблемости геометрии и объясняла три основные кривые интегрального исчисления невероятной конусностью возвышавшейся над нами горы.

Кто-то задул в альпийский рожок — прямо посреди квадрата.

— Уилф? Сэр?

Это я был альпийским рожком и дул сам в себя, словно автомобильная сирена.

— Уснул.

Я моргнул в сторону заходящего солнца. Фуникулер поглощал процессию экскурсантов — швейцарцев, немцев, австрийцев. В ширину они казались не меньше, чем в высоту. Рик смеялся:

— Вы сказали, что Мэри-Лу специализировалась по математике! Мэри-Лу!

— Мне приснилось, что я альпийский рожок. Замечательная девушка. Поздравляю.

— Она преклоняется перед вами.

— Я ей нравлюсь?

Пауза.

— Да, черт побери!

— Она играет в шахматы?

— Нет, черт побери!

— А в шашки?

— Вы с ней прекрасно поладите. К утру. К сегодняшнему вечеру.

— Обед.

— Ну да, — бесцветным тоном подтвердил Рик, — мы хотели бы пообедать с вами.

Я нисколько не удивился.

— Я плачу.

Мы трое, похоже, были единственными постояльцами в отеле — в середине недели и не в сезон. За обедом Мэри-Лу была все так же бледна и почти не ела. Зато Рик болтал за всех троих. С тропы, которую он разведal, открываются потрясающие виды. Воистину вдохновляющие. Реки, леса, луга. Усвоив наконец, что завтра мы идем гулять, я перестал слушать и сосредоточился на Мэри-Лу. Ее тоже мало интересовала болтовня Рика. Вдруг она поднялась, причем я успел к ней раньше Рика, который воспевал вечные снега. Он перехватил Мэри-Лу у меня и увел. Вернувшись, он извинился за нее, что вызвало у меня улыбку чуть ли не до ушей.

— Она очаровательна, Рик. Я считал, что это литературная условность, Рик, но знаете, когда она падает в обморок, то становится не зеленой и страшной — просто делается еще прозрачнее.

— Она сказала, что завтра не пойдет с нами.

— Неужели ей ничто не нравится? Я имею в виду...

— Можно сказать, — Рик замялся, — она нематериальна.

— Кошки? Собаки? Лошади?

Он начал медленно краснеть.

— Вы там были вдвоем, Рик. Недавно.

— В этом месте вы долго жили, Уилф.

Я задумался о месте, где долго жил. Единственном таком месте. Чудный старый дом, заливные луга, рощи, живые изгороди, голые холмы по обе стороны широкой долины, огромные дубы и купы вязов, которые, по уверению Элизабет, умирают. Я почувствовал одиночество.

— Вам там понравилось?

— Еще бы!

— Почему?

Я никогда не слышал подобного от взрослого человека, но он это сказал:

— Столько зелени. И белая лошадь, вырубленная в склоне холма, — все такое старинное...

— Когда я там был в последний раз, с одной стороны Белой лошади по

воскресеньям устраивали мотокросс. А с другой археологи, сдирают торф слоями.

— Но люди, Уилф! Обычаи...

— Особенно кровосмешение.

— Вы...

— Нет, я не шучу. И не забывайте про друидские жертвоприношения.

— Вы... вы... ну, вы и даете, Уилф!

— Как правило, из надежных источников. Стратфорд-на-Эвоне Уилфрида Баркли.

— Не верю, сэр.

— Что вы искали? Мои отпечатки пальцев?

— Мне нужно было поговорить с ней. Многие вещи знает только она.

— Еще бы, черт возьми.

— И бумаги.

— Послушайте, Рик Таккер. Это мои бумаги, и никто, повторяю, никто не сунет в них нос.

— Но...

— Таково было условие. Дом остается за ней, в случае чего переходит к Эмили. А бумаги мои.

— Естественно, Уилф. Она сказала, что все прошло очень цивилизованно.

— Элизабет? Она так сказала? Черт возьми, это...

Я умолк, не столько из остатков привязанности, сколько из осторожности. Элизабет, конечно, соврала. Процедура развода была крайне мучительна, она разбила бы мне сердце, если бы оно у меня было, и только Джулиан сумел оформить все юридически пристойно. Я пошел на всяческие уступки, не из благородства, а чтобы покончить с этим раз и навсегда. Джулиан не допустил, чтобы неразрывно связывавшая нас взаимная ненависть вышла наружу. Может быть, теперь у нее, как и у меня, все улеглось и остался только огромный рубец на душе? А улеглось ли — у меня? И у нее?

— Она сказала, что должна хранить их, но не имеет к ним никакого отношения.

— Мои бумаги?

— Вы так и не поняли, сэр. Вы часть великого карнавала английской литературы.

Именно так он сказал. Словно зачитывал заявление в суде. «Обвиняемый желает заявить, что является частью великого карнавала...» — вот в чем суть. «Подсудимый, вам предъявлено обвинение в том, что вы

с явно преступным намерением являетесь частью великого карнавала...»

Рик втянул подбородок и выставил лоб, выглядывая из-под массивных надбровных дуг.

— Так что ничего не выйдет, профессор.

— Как бы там ни было, она мне отказала, Уилф.

— Распутной она никогда не была. Следует отдать ей должное.

— Я понимаю, вы шутите, сэр. Но я страдал.

— Ради Бога! А как Валет Бауэрс?

— Неплохо, надо полагать.

— Хорошо. Очень хорошо.

— Она даже не дала мне взглянуть на ящики.

— Замечательно.

— Сказала, что без вашего разрешения ничего не даст. Письменного разрешения. Так договорено, сказала она. «Джентльменское соглашение», сказала она и засмеялась. Вы оба часто смеетесь. Я хотел бы и это исследовать.

— Режете по живому. Ничего вы не знаете о моей жизни. И не узнаете.

Передо мной появились крохотная чашечка кофе и солидный бокал с коньяком. Я стал греть коньяк в руках.

— Для меня это важно, Уилф. Крайне важно. Я бы все отдал — абсолютно все! Вы понятия не имеете, какая у нас конкуренция — а у меня появился шанс. Есть такой человек — когда-нибудь я вам расскажу. Но мне необходимо ваше разрешение...

— Я сказал — нет, черт побери!

— Подождите, подождите! Я пока не говорю о бумагах — время есть, когда-нибудь, возможно... Но есть другое дело.

— Все дело в том, что я вчера завязал с выпивкой. А вот теперь я, как видите, без всякого принуждения пью коньяк, и знаете, понемногу, помалучу...

— Другое дело...

— Меня, как говорится, немножко повело. Знаете, разъездные судьи. Осужденный съел обильный завтрак. Странно, когда судья разъезжает по разным местам... Как на шоссе. Не с кем поговорить. Только выпивка и дела, которые завтра нужно рассматривать. Ваше здоровье.

— Уилф...

Я подумал, как мало я знаю о разъездных судьях. Как мне повезло. За долгую жизнь никто не раскрыл моих преступлений. Тех, кому так не везло, ссылали в Австралию. Чтобы они там разводили овец и кормили таких, как мы. Кому что достанется.

До меня дошло, что Рик еще что-то балабонит. Я прервал его:

— Я тут так легко пьянею. Это высота.

— Уилф, пожалуйста!

— Профессор...

— Для меня в этом вся жизнь. Мне остается только умолять...

— Хотите стать полным профессором? В отставке?

— Уилф, я прошу, чтобы вы назначили меня официальным биографом.

## Глава V

Я окинул его быстрым взглядом, а потом долго вглядывался в стену за его спиной. Моя жизнь, эта жизнь, эта долгая и длинная тропа — чего? Следы на песке... След улитки. Доводы обвинения и, не следует забывать, доводы защиты, а обвиняемый отнюдь не намерен отдавать себя на милость суда. Пусть он признает свою вину, тогда выйдет на трибуну социальный работник и засвидетельствует под присягой, что подсудимый был добр к старушке матери и лошадям, швырял деньгами, часто в сторону своих друзей, не единожды жертвовал то в один фонд, то в другой; и все это, ваша честь, я противопоставляю привычке обвиняемого сочинять на бумаге отвратительную ложь, которая для многих убогих разумом служила путеводной звездой, утешителем и другом в жизни, причем во многих случаях, надо полагать, в ущерб этим несчастным. Позвольте напомнить, ваша честь, что главный свидетель обвинения, вот этот самый Платон, — чужеземец. Мистер Смит, обвинительное заключение уже зачитано. Вам следует ограничиться показаниями относительно морального облика подсудимого. Что ж, ваша честь, если уж по правде, так он таки редкостная сволочь...

Эти воспоминания — они кусаются, ошпаривают, жгут!

В девятнадцать я служил в банке, мне позволялось принимать вклады, учитывать чеки. Предполагалось, что в свободное время я должен готовиться к экзаменам, ха и так далее, чтобы со временем — кто знает? — стать кассиром, а на пенсию уйти с поста управляющего отделением. Я только что окончил школу — школу для сыновей фермеров, парней, которым обычный путь наверх был заказан. Мать держала меня в сугубой строгости. Чем-то она меня привязывала, бог знает чем. Так что я мог стоять за конторкой в старом школьном галстуке и естественно улыбаться, как там говорили, обслуживая клиентов без подобострастия. Управляющий поначалу ко мне благоволил, поскольку я не мог придумать ничего лучшего по средам и четвергам, чем играть в регби. Помню, я был просто ошеломлен тем, с какой головокружительной скоростью смерть матери — она-то считала, что я собираюсь стать священником, потому что любил читать, — забросила меня в этот мир голых цифр. Даже в команде регби, по моим понятиям, были одни старики. По субботам после игры мы умеренно пьянствовали в пабе. Господи, как я был наивен!

Еще во время первой же игры или после нее пошли смешочки:

— Где молодой Уилф? Он должен обязательно попробовать штуку!

Штука — это пилюля. Да нет, не наркотик, как в нынешние времена. Это был открыто рекламируемый афродизиак. Ну что ж, я по крайней мере способен рассказать о своем собственном опыте в той сфере, где устные свидетельства крайне противоречивы, а изложить свои похождения на бумаге мало кто из мужчин решается. Пилюля сработала. Наверное, в ней содержалась шпанская мушка. А может, ничего такого и не было. Но она сработала.

Конечно, уверяли они, мы все пойдем к девочкам, куда же еще? Так что под бдительным присмотром и под поощрительные аплодисменты я ее проглотил — мне же всего-то было девятнадцать! Что ж, разве я не говорил своей бывшей подружке, что стигматы отца Пио — всего лишь результат внушения? *Experientia docet stultos*<sup>[7]</sup>, как говаривал наш тренер, когда мы откатывались назад. Я со страхом оглядывался вокруг, весь охваченный вожделением. Конечно, за пределами, так сказать, физиологического плана ничего не произошло. Все ограничилось неспешно выпитой полпинтой пива, спортивными песнями, похабными анекдотами и странным вопросом, обращенным ко мне:

— Все в порядке, молодой Уилф? Точно? Ха-ха.

Как говорил мне гипнотизер, будь он проклят: «Вы крайне чувствительны к гипнотическому внушению, сэр».

В наше время такого неискушенного молодого дурачка уже не найти, нынешние все знают уже в десять лет. Но мне пришлось тяжело страдать от невероятной эрекции, которую мастурбация ничуть не облегчала. По ночам я ворочался и стонал от боли, и ничто мне не помогало. Все утро я простоял за окошком, в галстук, как положено, естественно улыбаясь фермерам, учителям, священникам, пожилым дамам, молодым дамам, которые сдавали выручку фирм за неделю и брали деньги на зарплату. А головка моего пениса так и упиралась в брючный ремень.

— Может, и мне расскажете этот анекдот, Уилф.

Он пристально изучал меня. Последние солнечные лучи просачивались в окно.

— Анекдот? При чем тут анекдот? Я вспоминал, как был банкиром.

— Я этого не знал.

— Как Т. С. Элиот<sup>[8]</sup>.

При мысли о Т. С. Элиоте в роли банковского клерка с суперэрекцией я снова разразился хохотом.

— Могу рассказать вам о совершенно новом аспекте банковского дела,



Рик.

— А вы не могли бы указать дату?

— Сидите смирно и не выкобенивайтесь.

Все это, конечно, было проникнуто духом фарса. Я мог бы описать всю свою жизнь как продвижение от одного фарса к другому — в разных плоскостях, жизнь природного комика, клоуна с красным носом, рыжим париком и штанами, спадающими в самый неподходящий момент. Да, буквально с колыбели. Первая моя попытка сесть на лошадь завершилась падением в кучу навоза. Это еще не так страшно. Мне не раз приходила в голову мысль, что если бы я хоть раз в жизни попробовал что-то сделать всерьез, не по-клоунски... Ладно. Время еще есть.

— Расскажите мне, Уилф.

Да. Это можно ему подбросить. Пусть начнет с кучи навоза и перейдет к банковскому клерку. Я не буду возражать, сам это напишу, покажусь по телеку и лишний раз скандализирую зрителей, если это еще возможно. К своему удивлению, я обнаружил, что в памяти предстает крепкий паренек в мешковато сидящем костюмчике, белой рубашке и школьном галстуке (чересчур ярком, возможно, но все сочетания цветов подбирались большими шишками) — да, я воспринимаю его со снисходительной терпимостью, даже с некоторой симпатией. Я вспомнил...

— А это что за анекдот, Уилф?

...как Уилфрид Баркли вносил два пенса на счет в банке, чтобы покрыть недостачу; и как он поссорился с кассиром, поскольку подавать банку такую мелочь, по мнению кассира, и по мнению управляющего отделением, и по мнению руководства банка, и, насколько мне известно, по мнению самого Банка Англии, было куда более непростительным проступком, чем грабить банк на такую ничтожную сумму.

Кассир буквально исходил яростью. Он ткнул мне в лицо этот двухпенсовик:

— Никто, я сказал, никто не выйдет из этого здания, пока не сведет баланс до последнего пенни!

Я был спасен (вернее, мой уход был отсрочен) тем, что хорошо играл в регби, и это все одобряли. Когда я открыл для себя Мопассана, регби было заброшено. Тогда и настал конец — в лице шотландского банковского инспектора. Я с удивлением обнаружил, что цитирую Рику его слова:

— Зна-аете, мистер Баркли, вы меня ознакомлюете с абсолютно новым згладом на цифры.

Управляющий выразил свое сожаление по поводу того, что такой перспективный левый крайний утрачен для банка и для города.

— Но вы понимаете, Баркли, тут дело в сердце. Ведь ваше сердце не с нами, так?

Тогда мне пришлось пойти в конюхи, потом я оказался близок к кино — изображал копыеносца на киностудии Элстри, несколько месяцев репортерствовал в провинциальной газетке — писал о чем только придется. После была война. Когда я вернулся без гроша, «Колдхарбор» написан сам собой — я тут ни при чем, — его издали, и пошло-поехало.

Биография Уилфрида Баркли. А почему бы и нет? Разве жизнеописание будет большим фарсом, чем сама описываемая жизнь?

— А кто такая Люсинда?

Вот тут я пришел в себя и вздрогнул. Это неудачная попытка стареющего мужчины сократить расстояние между тем, что на уме, и тем, что на языке. Рик жадно всматривался в меня. Конечно — он же там был, был подстрелен из пневматического ружья, и в его памяти этот инцидент отложился так же прочно, как и в моей. Я покачал головой и одарил его, как я надеялся, загадочной улыбкой. Тень промелькнула на лице профессора (так мы экстравагантно выражаемся), когда он понял, что лавочка закрыта.

Люсинда вечно во что-то встревала, она всегда балансировала на самой грани допустимого. Так что по большей части, если не целиком, идея принадлежала ей, а не мне. Во всем, что касалось секса, Люсинда была истинным гением. Вот бы ей вздумалось писать мемуары! Господи, *Domine defende nos*<sup>[9]</sup>! Это была бы книга — для доблестных исследователей человеческого скотного двора. Она была такой выдумщицей! Ребята, вот то, что вы искали, возьмите это с собой, подарите жене, детям, беззубым старикам, которые уже и маргарин не разжуют, — вот нечто поистине новенькое!

У нее была фотокамера «джиффи» — своего рода предшественница «полароида». Эту штуку Люсинда достала раньше, чем они появились в продаже. Она это могла, у нее всюду были знакомства. Люсинда могла все! Даже автомобиль у нее был из опытной партии. Но делать снимки этой камерой она додумалась сама. Бог знает, почему это было захватывающе, но так было, и вы ощущали себя таким персонажем из «Мученичества святой Агнессы», охваченным недоступной смертному страстью, в общем, сбылась мечта банковского клерка. Она была на десять лет старше меня, но прекрасно сохранилась и берегла себя, словно последнюю реликвию. Но ей ужасно нравилось отснимать кадры — каждого по отдельности, затем обоих вместе, голых или полуголых в постели, а потом рассматривать бледные тени, формы, почти лишенные цвета, и восклицать: «Это я!» или «А вот ты!» Конечно, она снимала лица — чаще свое, иногда мое, но

практически никогда вместе в одном кадре.

Теперь я понимаю, что ее страсть фотографировать себя в таких ситуациях и буквально несколько секунд спустя просматривать в цвете просто замещала стремление проделывать это на людном перекрестке, останавливая движение; а может, ей нравилось воображать себя императрицей, игравшей на сцене под бурные аплодисменты, следует понимать, византийской толпы. Как-то она небрежно заметила, что лучше бы нам пару дней выждать, потому что ей кажется, что она где-то подцепила триппер. Я никогда не бегал так быстро, даже когда играл в регби. Позднее — намного позднее — от нее пришло письмо, которое я изорвал на клочки вместе с фотографиями, изображавшими ее и некоторые части — неопознаваемые — меня, и выбросил — идиот! — в мусорный ящик лишь для того, чтобы их извлек оттуда этот человек. Снимки с моим лицом она оставила себе. Но ведь все это было до знакомства с Элизабет — почему же сейчас, во всепрощающем возрасте, воспоминания о Люсинде вызывают столь болезненный стыд?

Маргарет. Вот в чем дело. Вспомнив о ней, я невольно сжался внутри. Я изо всех сил старался забыть историю с Маргарет, и мне это практически удалось. Только Люсинда в этом участвовала. Я просил у нее совета. Я рассказывал ей, какие безумные, непристойные письма я писал Маргарет — единственной женщине, которую я хотел и не мог получить, обвинения, проклятия по поводу ее замужества, немыслимые, гнусные, — я, несомненно, просто сошел с ума. Придя в себя, я столь же безумно желал получить письма обратно — тоже самое настоящее помешательство.

Люсинда была полна презрения.

— Это очень просто. Элементарнейшая вещь. Находишь адвоката без предрассудков, даешь ее адрес и сотню фунтов. Через месяц он отдает тебе письма в ненадписанном конверте. Никто не говорит ни слова. Так делается каждый день. И с концами, мой маленький. Какой же ты маленький, однако. Я могла бы требовать с тебя тысячи за те снимки.

— Это было бы... незаконно.

— Преступно, — весело согласилась она, — но это уже дело адвоката. Ты же сложил в пакет эти пленки, правда?

— Маленький такой пакетик.

— Если человек при деньгах не может позволить себе такие услуги, — произнесла Люсинда бесстрастным резонерским тоном, — то для чего тогда деньги?

— Я не знаю адвоката без предрассудков. Мой настолько полон ими, что стал твердым, как сталь.

— Все адвокаты лишены предрассудков, просто одни больше, другие меньше.

Сидя напротив Рика Таккера, за спиной которого отражались снег и звезды, я был охвачен вихрем удивительных воспоминаний. Более тридцати лет назад я действительно вышел окольными путями на адвоката без предрассудков. И дал ему деньги. Так я сделался соучастником преступления ради ничего, буквально ради ничего. Стоя в своей квартире у камина, который должен был поглотить мои гадкие, достойные всяческого сожаления письма, я вдруг надолго застыл с раскрытым ртом. Письма были перевязаны розовой ленточкой. Потом я словно всплыл на поверхность после многомесячного запоя. Это были вовсе не мои письма. Письма были от ее мужа — напыщенные, неудобоваримые ухаживания этого тупицы, торговца недвижимостью; но она его любила и хранила письма, словно талисманы. Мои же — а я в непомерном самодовольстве не мог и подумать, что кто-то посмеет уничтожить мои письма (безумные, безумные, безумные), однако же она это сделала — еще и благородно с ее стороны, ведь она вполне могла сдать их в полицию — она сожгла, она бросала в печку непристойные послания сразу, как получала их. Хуже того — она могла их и сохранить. Не ходят ли они сейчас по свету, в тех кругах, где никак не должны появляться? Если так, то наряду с исчезновением писем ее мужа это стало бы явной нитью, ведущей прямо ко мне. Значит, я вовсе не свободен и никогда не буду свободен от возможности их появления на свет...

— Искренне надеюсь, он хотя бы ограбил квартиру.

Кто-то пристально уставился на меня.

— Уилф?

Я отвел взгляд от его пронзительных глаз ниже, к носу — широковат, переносица немного вдаётся внутрь, — к длинной верхней губе, от которой нижняя несколько отставала. Показалась салфетка, промокнула ему губы, снова исчезла. На нем была рубашка с черными и белыми полосами, очень широкими. В мое время это считалось бы крайне вульгарным.

— Что-то не так?

Разумеется, я сжег письма ее мужа. Не мог же я отослать их обратно.

В состоянии тревожного и здорового страха я подался в Южную Америку, будто полиция уже гналась за мной. Ужас преследовал меня еще многие годы, оборачиваясь ночными кошмарами или видениями в полудреме, пока не исчез где-то в глубинах сознания, показываясь вновь, лишь когда мне приходилось, как сейчас, предаваться воспоминаниям.

Странно, если подумать: ничего не происходило без Люсинды. Она

принадлежала к тому сорту людей, которые кончают тяжелыми наркотиками, а доброжелатели считают, что она была своим злейшим врагом, никому не причиняя вреда, кроме себя самой. И невдомек им, что стальная цепь, привязывающая мелкие преступления к более тяжким, тащит человека шаг за шагом, пока не приходится обернуться и посмотреть фактам в лицо, а не бежать от них. Как они ошибались насчет Люсинды! Все мы члены чего-нибудь. Ха и так далее.

— Так что за анекдот?

— По-моему, это уже анекдот. И очень смешной. Я пьян. Перебрал коньяку.

— Уилф, в вас есть такая, назовем ее, застенчивость, которая не дает вам проявить интерес к биографии...

Банковский клерк меня развеселил, дурацкое положение любовника Люсинды (название для романа из односложных слов) я воспринял с сожалением и насмешкой — но письма, Маргарет, мое преступление...

— Простую записку... И, конечно, в данный момент, надеюсь, мы сможем разве что согласовать параметры...

Бежал. Всегда бежал этот левый крайний, если его случайно не хватал за руку какой-нибудь здоровенный олух из тех, что сцепились в схватке за мяч...

— Просто записка, Уилф, с вашей подписью, дающая мне полномочия, особенно в случае вашей безвременной кончины. В конце концов, я моложе вас на целое поколение...

Ага. Вот он-то и есть здоровенный олух из тех, что сцепились.

— Рик, вы сделаете мне честь, включив меня в список королей, президентов, серийных убийц, телеведущих...

Он перебил меня своим, как ему казалось, озарением.

— А еще Томаса Вулфа, Хемингуэя, Готорна и... — прошептал он в священном ужасе, — Мелвилла — Белого кита!

— Я не американец. Это, конечно, огромный недостаток. Однако Элизабет, бывало, говаривала...

— Ну же, Уилф? Продолжайте!

Самый болезненный из ее уколов: ибо, как во многих глубоко уязвляющих супружеских упреках, в нем содержалась истина, известная только ей. Она говорила мне (сидя по другую сторону сплошь изрезанного кухонного стола, вся такая домашняя), она говорила мне, что, получи я полшанса, я проявил бы себя как гений, как великий человек:

«То, чего ты всегда хотел, Уилф, — Господи, мне ли этого не знать? — особенно перед какой-нибудь смазливой дурочкой, которая оценивала бы

тебя по твоим собственным критериям, как священную корову, для которой не писан общий закон, как национальное достояние, ты хотел оставить после себя слова, которым мир не дал бы умереть, а между тем то, что ты пишешь, это...»

— Популярщина.

— Таково всеобщее заблуждение, Уилф.

— Что мои книги популярны?

— Да нет же. Я имею в виду, что популярное — это...

— Второсортное.

— Я не то хотел... Я хотел бы послушать ее аргументы.

Ее пренебрежение было подобно острейшему скальпелю. Одна из множества вещей, которые побуждали меня постоянно бежать, которые заставляли меня отклонить предложение Рика и снова скрываться, поскольку, наряду с другими соображениями, доказывали — кому? ей? мне? — что я не ищу дешевой славы, не становлюсь в позу.

— Что значит «послушать ее аргументы»?

— Я понимаю, Уилф, сэр. Потребность в свободе. В конце концов, даже с Мэри-Лу, между нами говоря...

— Ее аргументы.

— Она прямо-таки взбесилась, когда зашла речь о том, как вы, по ее выражению, «сорвались» в Южную Америку. Ей тогда пришлось трудно с Эмили. Я забыл, в какую именно страну. Когда это было?

Просто странно. Я видел процесс. Это было не интеллектуальное восприятие, я его ощущал, видел, боялся и прикасался к нему. Это было просто, тривиально. Всеохватывающе. Просто одно вытекало из другого — всего лишь так, ничего иного — Маргарет, письма, Люсинда, мой страх, я бегу, бегу, одно вытекает из другого...

Южная Америка.

Действительно, в каком году это было? Что он сочинит, нудный и неотвратимый, ступающий по моему прошлому здоровенными ножищами, вынюхивающий этот старый, исчезающий след? Поистине современную биографию без согласия биографируемого. Дешевая печать в Сингапуре, десять миллионов экземпляров в мягкой обложке из захудалой переплетной мастерской в Макао. Никакого контроля, продажа открыто и из-под полы. Как они будут смеяться над Уилфом Баркли, онанирующим по всей Южной Америке из страха перед полицией и боязни женщин. Баркли больше всего на свете опасался триппера, а Люсинда не представляла себе вечера в городе, если где-нибудь на окраине ее не трахнет возле стены пьяный докер, а лучше еще и приятель докера в придачу. А героическая схватка

Баркли с революцией — три дня в холодном погребу; и после этого паническое бегство на автомобиле к безопасности! Вот что сочинит этот тип.

Намертво.

Как глубоко они будут копать? И стою ли я того, чтобы меня глубоко копали? Стою для Рика, который не смог найти никого другого, за кем не стояли бы в очереди горе-филологи, извлекая из глубин времени всевозможную дрянь. В его распоряжении средства побогаче, чем были у Босуэлла<sup>[10]</sup>, — не одна бумага, не одни магнитофонные пленки, видеоленты, диски, кристаллы с их зловещей, безжалостной памятью, но орды вынюхивающих, подсматривающих, реконструирующих, от которых не скроется ни единое сказанное слово, ни единая тень, отразившаяся на стенах, вроде ружей Валета Бауэrsa.

Намертво.

Конечно. В Южной Америке, не важно где, полицейское дело хранится до сих пор. Тот индеец — а может, и нет. Было так темно, а я включил только подфарники, потому что спасался бегством, и я твердо решил в случае чего говорить, что он выбежал на дорогу прямо на свет моих фар... Как они смогли бы догадаться, что от страха я забылся и гнал по этому проселку, словно в Англии, по левой стороне? Говорят, если бы я остановился, другие индейцы убили бы меня. Этот случай я загонял все дальше и дальше, пока сам не поверил, но не забыл. Это же были густые джунгли, и не обязательно я наехал на индейца, и если даже я кого-то убил или тяжело травмировал, это мог быть просто зверь. Потом я на бешеной скорости проскочил брод так, что даже крышу залило. Кто бы искал пятна крови в реке? Вода и вода, ха и так далее, и, в отличие от нее, я действительно ничего определенного не знал. Наскочил на тень, малость перепутался, дорога в ухабах, крик — то ли птицы, то ли еще кого-то. Если и существовал протокол — такой-то и такой-то индеец найден, допустим, мертвым — я не скажу никому, даже самому себе, только буду думать над этим позже, снова и снова... Как я мог вернуться назад, с трудом преодолев брод? Вернуться? Отдать себя в руки этих мерзавцев в форме и всем им объяснять, что я мог это совершить, но не уверен... Столько языковых нюансов. Мой испанский тут не годился. В конце концов меня бы осудили за неспособность справиться с сослагательным наклонением.

Ударил — беги.

Такое происходит где-нибудь каждый день, часто при смягчающих обстоятельствах, как, вне всякого сомнения, в данном случае.

— ...так что, можете мне поверить, она воздала должное вашему

гению.

Я вынырнул из расплавленного свинца.

— Гению?

— Именно это она имела в виду.

— Ерунда. Не забывайте, я знаю Лиз — уж я-то ее знаю! Она считала, что у меня есть талант, способности. Я сорвал банк. Кто-то должен был это сделать.

О Боже, о Боже, о Боже, этот процесс, этап за этапом, никто не знает, что вырастет из этого семени, какие таинственные травы и цветы, но процесс идет, принося нам все новые и новые семена, миллионы, пока все сущее — Настоящее Сущее — не превращается в необратимый результат.

— Если бы вы смогли увидеть свою пользу.

— Это забавно. Очень, очень забавно.

— Всего только вашей рукой пару фраз: мол, вы назначаете меня вашим литературным душеприказчиком. Вреда никакого. Разумеется, я буду сотрудничать с вами.

— Что-то я сильно пьян. Давайте поговорим завтра.

— И вы должны уполномочить меня каталогизировать документы, находящиеся в ее распоряжении.

Я всматривался в его жаждущее, напряженное, упрямое лицо, лицо старателя, который разбил глыбу кварца и видит в ее середине желтый блеск. Моя подпись утвердит за ним застолбленный участок. А там письма, рукописи, дневники вплоть до школьных лет...

«Джефферс чертовски хороший парень, и я рад быть его... замечательно быть при нем вторым номером... Джефферс классно поймал мяч, который я поначалу упустил... я сказал ему, что это потрясающая подсечка, а он, кажется, был не против, когда я обратился к нему...» Слава Богу, это дурацкое сюсюканье не преследовало меня во взрослой жизни, не запутало ее еще больше!

Он не сводил с меня взгляда.

— Так вот, если бы вы могли видеть собственную выгоду...

Видел я ее, от начала до конца, дюйм за дюймом.

Тут не было ни малейшего сомнения. Стоило мне чуть ослабить внимание, лицо Рика, или два лица, расплзлось пополам. А почему бы нет, черт возьми? У него и вправду два лица.

— Конечно, Уилф, то, что вы захотите, останется конфиденциальным.

Мне стоило немалого усилия свести оба его лица вместе. Мне пришла в голову идиотская мысль, что выражения на каждом лице разные, и при сближении они стирают друг друга, превращая объединенное лицо в ничто.



— Какого черта меня так развезло? Я же немного выпил.

— Высота.

— Вот, бывало, омар. Знаете, Разжевачка.

— «Пиквик».

— «Тяжелые времена». Нет, Рик, долг и прошлые деяния властно влекут меня к одиночеству.

— Шелли.

Должен признаться, хоть и неохотно, я воздал ему должное — сам я наткнулся на эту фразу совершенно случайно. Она содержалась в неопубликованных рукописях Шелли. Какого черта? Да с тех пор они уже все на свете опубликовали, фабрика по изучению Шелли работает почище босуэлловской, ни одного листочка не упустит, как бы сам бедняга к нему ни относился. Мертвые платят все долги. Господи Иисусе!

— Замечательная салонная игра, правда?

— Послушайте, Уилф, я могу написать документ прямо на этом меню. Вы подпишете, управляющий засвидетельствует, и все дела.

— С подписью и печатью. Припечатаем доньшком бутылки. Что тут — СВАЛК? Нет, другое.

— Я вас не понимаю, сэр.

— Ха! Этого вы не знаете! Я победил!

— Я напишу вот здесь. «Настоящим назначаю профессора Рика Л. Таккера из Астраханского университета, штат Небраска...»

— Вы уже стоите в дверях, да?

— Вот, Уилф. Возьмите мою ручку.

В бокале Рика оставалось еще немало коньяку. Я взял его и пролил немного на обложку меню. Потом прижал к бумаге доньшко бутылки. Получилось вроде круглой печати.

— Нельзя писать там, где коньяк, Уилф. Пишите с того края, где сухо.

Правду, всю правду и ничего, кроме правды. Не только овьянное облаками семян древо времени, но и прочие растения, которые расцветают сейчас и простирают ветви в мое будущее — деяния еще неизвестные, но уже подлежащие искуплению...

— Нет, Рик, нет! Я скорее умру, чем скажу да!

— Уилф — пожалуйста! Вы не знаете, что это значит для меня!

— Еще как знаю. А вот что это значит для меня.

Я написал огромными буквами «НЕТ» на обороте меню и подержал перед его носом.

— Сувенир на память о счастливом случае.

## Глава VI

Эта книга не о моих странствиях. Полагаю, она обо мне и Таккерах — муже и жене. Даже о чем-то большем, хотя я не могу точно сказать, о чем именно — слова для этого слабоваты, даже мои; а уж крепче моих, Бог свидетель, слов не бывает.

«Плачь, плачь.

О чем плакать?»

Плакать бесполезно. У нас нет общего языка. Вернее, язык-то есть, и он годится для таких случаев, как правила перевозки легковоспламеняющихся материалов или рецепт русского салата оливье. Но слова наши усечены, словно золотые монеты, стершиеся от времени, да еще и высеченные изношенным штампом.

Ну ладно.

Я улегся в постель и не вставал до утра. Как выразился управляющий, мне нужно было акклиматизироваться. Рик стучался так настойчиво, что пришлось его впустить, хоть я еще только собрался пить утренний кофе. Он сказал, что Мэри-Лу тоже завтракает в постели. Он одобрил мою гостиную и замечательный вид из нее. В их номере из окна видно только стену сарая, причем так близко, что можно считать мух на ней.

— Пусть Мэри-Лу любит вид из моего номера, сколько захочет.

Рик поперхнулся, а потом сказал, что ловит меня на слове. Что он может сделать для меня? Нужно ли мне подремонтировать прокатную машину? Он так алчно присматривался к моему дневнику на прикроватном столике, что я демонстративно захлопнул тетрадь у него под носом. Рик спросил, не нужно ли мне подиктовать. Его машинка...

— Ничего не нужно. Кто я, по-вашему — писатель?

Он уже назначил себя моим секретарем.

— До свидания, Рик. Я вас не задерживаю.

Он пропустил эти слова мимо ушей и сказал, что целый день разведывал дорогу к вершине Хохальпенблик.

— Завтра можем сходить, если вам не слишком тяжело.

— Когда Мэри-Лу окрепнет.

Тут он задумался. Я повел крючок:

— Когда будет чересчур круто, она поможет вам тащить меня.

— Ей нравится сидеть на месте, Уилф.

— Неспортивная девушка?

— Ей нравится ваш Уимблдон.  
— Держит нас в форме.  
— Я скажу ей, что вы разрешили зайти попозже.  
— Разве я разрешил?  
— Любоваться видом, Уилф, видом!  
— Ах да. Видом. Мы с Мэри-Лу будем сидеть рядышком и наслаждаться видом. Лишь бы она не свалилась с балкона.  
— Надеюсь, нет смысла спрашивать...  
— Ни малейшего.

Рик немного подумал.

— И все-таки, — сказал он, — я попрошу ее принести это.

Он удалился, кивая в такт собственным мыслям. Я тут же забыл о нем, оделся и сидел, любуясь видом. В конце концов, именно для того отель и существует. Я только что просмотрел остатки своего дневника за тот год — из тех дневников, что вскоре подвергнутся все소жжению, — и обнаружил за этот день необычно долгую запись. Ни слова об альпийском виде, зато очень много о чарах молодых женщин, Нимуэ<sup>[11]</sup> и шекспировских миражей — Пердиты, Миранды<sup>[12]</sup>. Имеется попытка описания Мэри-Лу, но она быстро обрывается, и вместо нее Уилфрид Баркли в тот день рассуждает о Елене Троянской! О том, что Гомер рассказывает о ней, описывая не саму эту женщину, а впечатление, которое она производила на других. Старик на городской стене, увидев, как она проходит, замечает: неудивительно, что эта женщина вызвала такой катаклизм, но тем не менее давайте вернем ее домой, пока не стало еще хуже! Или примерно так. Гомера я читал только в переводах, но это место мне запомнилось. Мэри-Лу заставила солнце подняться из-за озера, а когда она ушла, солнце последовало за ней. Мэри-Лу вырвало, и кое-кто тут же испытал жалость к ее ставшему прозрачным личику — Уилф, например, — вместо естественного отвращения. Я не могу — и тогда не мог — даже описать ее ручки, такие бледные, такие тоненькие и маленькие. Под конец, оказывается, я сравнил себя с тем стариком на стене. Да, отправим Елену обратно, пока не стало хуже.

Я записал все это в дневник, не обращая внимания на вид с балкона. Тут раздался стук в дверь. Я вышел в прихожую и впустил маленькую Елену. В руках у нее был поднос с кофейником и двумя чашками.

— Входите! Входите! Сюда — позвольте, я заберу — садитесь, пожалуйста!

Я пребывал в состоянии идиотской растерянности. Мэри-Лу

свернулась калачиком в кресле, лишая меня возможности мысленно описать ее, прежде чем перенести это на бумагу. Руки она держала на коленях, а лодыжки манерно свела вместе. Головку она повернула так, чтобы смотреть в окно, и это легкое движение словно изменило все очертания ее тела.

— У вас тут действительно замечательный вид, мистер Баркли.

— Уилф, прошу вас. Да, тут трудно смотреть на что-то другое.

Покоренные праведностью, средневековые хронисты изображали в своих рукописях святых на золотом фоне; потом, когда их видение сделалось более выборочным, святых стали рисовать с нимбом вокруг головы. И видение красоты было таким же — надо полагать, у старцев, сидевших на стене и говоривших голосом, тонким и сухим, как стрекот кузнечиков.

— И вправду вдохновляет.

— Господи, конечно. Нет слов.

— Вы мне напомнили. — Она расстегнула сумочку. Отбросила рукой волосы и вынула конверт. — Рик просил передать вам это.

— Что это?

Цвет ее лица изменился, чуть заметно — впрочем, все, связанное с ней, выглядело скорее намеком, чем фактом. Возможно, она вообще не существовала, а была призраком абсолютной красоты, вроде той лже-Елены, за которую и было пролито столько крови<sup>[13]</sup>.

— Рик просил отдать это вам.

— Разрешите?

Внутри оказался еще один конверт, обернутый в записку: «Ушел разведывать тропу для завтрашней прогулки. Надеюсь, Мэри-Лу повезет больше, чем мне. Рик».

Я уставился на Мэри-Лу, которая отвернулась к окну. Она, конечно, смотрела на горы, не совсем грациозно обхватив руками ручки кресла. Я вскрыл второй конверт. На бланке отеля были отпечатаны две строчки, назначавшие адъюнкт-профессора Рика Л. Таккера из Астраханского университета, штат Небраска, литературным душеприказчиком и разрешавшие ему доступ в том объеме, какой он сочтет нужным, к документам, ныне находящимся в распоряжении миссис Элизабет Валет Бауэрс. Внизу мое имя и место для подписи. Я снова взглянул на Мэри-Лу.

— Вы знаете, что это такое?

Она ответила едва слышно:

— Рик сказал отдать это вам.

Избегает прямой лжи, бедная девочка. Может, и так. Скорее всего она

испытывает отвращение ко мне и ко всей этой ситуации. Несправедливое отвращение — я же честно пытался сбежать, а они последовали за мной в Вайсвальд.

— Скажите, Мэри-Лу... Чего вы хотите для Рика?

Мэри-Лу задумалась; вернее, она попыталась думать. От усилий ее очаровательный лобик чуть-чуть наморщился.

— Ну, давайте же! Вы же должны себе это представлять!

— Того, что он сам хочет, надо полагать.

— Профессорского звания? Кафедры? Книг? Выступлений по телевидению? Славы? Богатства? Может, поста или звания — я не знаю, как это делается — в Библиотеке Конгресса?

— Я...

— Да?

— Вы не хотите кофе, мистер Баркли? Со сливками? С сахаром?

— Просто черный кофе. Я Уилф, прошу вас. Ладно, поставлю вопрос иначе. Вы имеете представление, почему Рик пристает ко мне? Понимаете, писателей ведь как собак нерезанных. Их определенно больше, чем профессоров филологии, если учесть, что многие занимаются и тем, и другим. Только давайте без подлизывания. Мне нужна холодная, честная правда.

— Думаю, он восхищается вашим творчеством.

Я поморщился, но Мэри-Лу продолжала с детской наивностью:

— И от меня требует того же.

Я почти допил кофе, пока нашелся с ответом.

— Милая моя, это действительно довольно взрослое чтиво — кроме, конечно, «Хищных птиц». Тут я дал себе волю. Кондотьеры!

Она кивнула с умным видом:

— Вот и Рик так говорит.

— Он действительно так говорит?

— Да, сэр. Он сказал что-то вроде того, что вы это писали с прицелом на экранизацию.

— Вовсе нет! Просто... понимаете, люди в четырнадцатом веке действительно были такими. Нормальный человек тогда был... головорезом. В Италии, во всяком случае. Ну ладно. Если он так полагает, зачем он пристал ко мне?

— Он сказал, что в данный момент никто другой вами не занимается.

— Я поражен до глубины души.

— Он никого не мог найти. А уж он искал, мистер Баркли, Уилф, и я тоже искала. Я же была его студенткой, вы знаете. Мы вместе работали над

вами, сэр. Он говорил, что в таких исследованиях идут, как правило, ноздря в ноздю. Поэтому чрезвычайно важны быстрота и точность. Мы должны знать предмет до мельчайших подробностей.

— То есть меня.

— Он говорил, что инвестирует время и деньги в вас... Уилф... и мы не можем позволить себе ошибку.

— Возможно, он ее уже сделал, и очень большую.

— Это была комната на первом этаже с окнами во двор, разве не так?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— «Фелстед Регина».

— Коттедж? Тот, что в конце тропы? Перед лесом?

— Да, сэр, тот, в котором вы родились. Мы сделали снимки. Это та самая комната, правда?

— Так говорила мама. Ей лучше знать. Господи.

— Окошко совсем крохотное.

— Боже мой, Боже мой.

— Я что-то не так сказала?

Я налил себе еще кофе и выпил одним глотком.

— Нет, нет. Пожалуйста, продолжайте. Значит, вы... помогаете Рику.

— Хм. Понимаете, тут еще мистер Холидей.

— Не знаю никакого мистера Холидея.

— Он богат. То есть действительно богат. Он читал ваши книги. Ему понравилось.

— Как мило, когда богатые умеют читать.

— Ну да. Особенно для них самих, не так ли? Больше всего ему понравилась ваша вторая книга, «Все мы как бараны».

— Откуда вы знаете названия моих книг, если вы их не читали?

— Я специализировалась по фитодизайну и библиографии. Его секретарша, то есть мистера Холидея, говорила, что ему особенно понравились «Все мы как бараны». Больше всего он цитировал оттуда одну фразу.

— Вот как.

— Дайте припомнить, смогу ли я ее воспроизвести. Вы там признались, что вам нравится секс, но для любви вы не пригодны.

После этого мы оба молчали долгое время. Какое? В романе я бы взглянул на настенные часы, заодно отметив узорную отделку вокруг стекла, а потом поразился бы, когда это минутная стрелка успела проскочить от десяти до двенадцати. Но на стене никаких часов не было. Ладно. Я задумался. Но ничего вокруг не было, просто прошло много

времени. Мэри-Лу отставила чашку.

— Позвольте...

— Нет, постойте минуточку. Не уходите. Я имею в виду — почему? Почему мистер Холидей? Он что, проповедует теорию секса без любви? Ради Бога!

— Нет, Уилф. Мистер Холидей очень любит дам.

— Тогда непонятно, при чем тут я. Ладно, поставим вопрос иначе. Он что, выбрал меня из справочника, тыкнув наудачу булавкой?

— Ни в коем случае! Он прочел эту книгу...

— «Все мы как бараны».

— ...а потом затребовал все остальные...

— Потрясающе!

— ...а потом приказал секретарше разузнать подробнее. Она вышла на президента Астраханского университета. Понимаете, мистер Холидей уже построил для них экуменический храм, лыжный трамплин со снегометным агрегатом и настоящие теннисные корты...

— Понятно, ему вожжа под хвост попала. Он поговорил с Риком...

— Я уже говорила, мистер Баркли. Это была его секретарша. Сам он избегает контактов с кем бы то ни было. По крайней мере...

— Кроме женщин из своего гарема. Старый козел!

— Но он не стар, мистер Баркли! Уж никак не старше вас.

Пауза.

— Он, случайно, не писал бестселлеры?

— Вряд ли. Нет. Точно не писал. Но это оказалось настоящим прорывом. То есть Рик, расставшись с фонетикой, решил специализироваться на вас — потому что любит ваши книги, мистер Баркли, он их действительно любит. Потом секретарша мистера Холидея связалась с президентом университета, тот вызвал профессора Сондерса, и пошло!

— Но такой богач может позволить себе не одного писателя — он может их коллекционировать, как женщин!

Мэри-Лу кивнула. Потом, стоило мне подумать, что я уже испил чашу унижения до дна, Мэри-Лу перечислила других писателей, которыми интересуется мистер Холидей. Ни одного знакомого имени.

Я взял записку Рика, повертел в руках и положил обратно. Мужчины без любви. Что-то в этом есть. Мама, отец, которого я никогда не видел, Элизабет, Эмили. По-моему, персонаж в «Все мы как бараны», который утверждал, что не способен на любовь, был просто фигурой, которую я ввел ради динамики сюжета; но разве он, в конце концов, не говорил от

моего имени? Мне иногда бывало одиноко. Но это было одиночество человека, хотевшего людей вокруг себя, какого-то шума и движения, некоторой жизни. Женского тела мне хотелось все реже и реже. Даже это признание абсолютной женственности Мэри-Лу нисколько не было, утверждал я самому себе, грубым — оно было несколько отеческим, защитным, сочувственным, грустным.

Она встала с кресла:

— Пора.

— Вы уходите?

Надо было сделать что-то невинное и многозначительное, например, взять ее руку и поцеловать ее. Можно было подпустить цветистой риторике. Мужчины без любви! Столько опасностей менее чем за сутки!

Но она полагала, что да, ей пора идти, что она благодарит за кофе — мы оба забыли, что принесла-то кофе она. Закрыв за ней дверь, я постоял в маленькой прихожей, разглядывая свои пустые чемоданы на полках. Это было бесполезно и опасно. Надо было немедленно бежать, и не только от него, но и от нее тоже. Это же надо — дать себя увлечь ребенку от горшка два вершка, дать себя увлечь юному телу, в котором мозгов как у обрывка веревки!

Ибо если в этом теле такой разум, значит, тело это просто ужасно.

Нет. Я несправедлив. Ей не нравится врать, она старалась избегать этого. Она пыталась придерживаться середины между тем, чего они с Риком хотели, и тем, что она считала правильным — а кто я такой, чтобы осуждать ее понятия о морали? Я ей не нравлюсь. Опять-таки, кто я такой, чтобы ее за это осуждать? Она не читала эпохальных трудов Уилфрида Баркли. Ладно. Не только моих не читала. Господи, да она еще в трансе новобрачной! Она исполнена тайного довольства тем, что она отныне знает и чего не знает никто другой, женской радости самоотдачи, знания, что ты чье-то владение, чья-то рабыня, и что ты должна скрывать это от мужа именно тогда, когда получаешь наслаждение, заставляя его поверить, что ты просто играешь там, где, как тебе прекрасно известно, и заключена суть человеческой жизни. Эта скучность, замедленная реакция, то, что я воспринял как показатель низкого интеллекта, на самом деле просто ее равнодушие к человеку втрое старше себя, к человеку, с которым ради блага мужа она должна вести себя вежливо.

Пора было поспать перед чинным обедом. Я разделся и лег. Старики стрекочут, как кузнечики, заведя проходящую мимо девушку. Неудивительно, что такая девушка влечет за собой столько вражды и горя. Неудивительно, что молодые готовы пожертвовать столь многим ради ее



любви. Тем не менее пусть она убирается домой, пока не стала причиной смерти новых молодых парней. Стариков. Старых клоунов, старых пердунов.

## Глава VII

Мне многое приснилось. Считается, что это признак здоровья, но я запомнил свои сны, а это, здорово оно или нет, для меня необычно. Элизабет говаривала, что у меня нет подсознания, зато сознание открыто для всего. В ее понимании это означало, что я просто ларек, в котором ничего нет, кроме дешевых побрякушек на продажу. И зачем только мы встречались? Знакомый доктор-индус сказал, что нам надо продолжать встречаться, пока мы не узнаем, но что узнаем, так и не объяснил.

Мои сны были на тему женщин tout court<sup>[14]</sup>. Они продолжались и наяву, когда я выбрался из кровати и вышел на балкон. Мне снилось, как я рассматриваю огромный ледник на противоположном конце долины, а после какого-то запутанного воспоминания о словах Элизабет я вдруг понял, что это мое собственное сознание. Я понял, какое же оно скучное, это пляшущее сознание, это мерцание ума, из которого я складывал свои неправдоподобные, но занимательные сюжеты. А потом я забеспокоился, потому что балкон начал раскручиваться и я завис под каким-то непонятным углом; так что сознательно или бессознательно мой разум парил в высоте, и до меня дошло, что я просто одна из множества бабочек, которых мистер Холидей держал под стеклом на булавках, только больно от булавки не было и я не мог разобрать энтомологическую надпись на латыни, классифицировавшую меня. Так что я проснулся с неприятным ощущением, что написал очень плохую прозу и что старина Зонкерс будет недоволен. От сна осталось то состояние, которое парни-психологи (да и парни-теологи) называют аффектированным. То есть я проснулся весь в поту и был очень доволен, что мне шестьдесят лет и что я тут, в Вайсвальде. Счастливейшие дни, ха и так далее. «Священная яловая корова», как называла меня Лиз.

Я полез под душ, и к тому времени было уже поздно пить чай и в самый раз спуститься в бар. Я быстро оделся и направился туда. В окно я наблюдал за процессией австрийских, немецких, швейцарских туристов, которые шли в противоположную сторону, то есть к фуникулеру; все маленькие, поперек себя шире, с пятнами пота на Lederhosen и перьями в шляпах, они напоминали оловянных солдатиков, марширующих обратно в коробку. Я уселся за стойкой, управляющий без видимого отвращения принялся сотворять мою адскую смесь, и тут в дверь ворвался профессор Таккер.

— Здравствуйте, Уилф, старая перечница!

— Сами такой, — с кислым предчувствием ответил я, — адъюнкт-профессор.

— Я такого еще никогда не видел, даже у себя дома!

— Простите, но я не намерен ползти на карачках.

— И не нужно. Там везде перила. Как вы с Мэри-Лу?

— Она упоминала Холидея.

Он осекся. После длительной паузы он счел подходящим засмеяться. Тяжкий мыслительный процесс можно было наблюдать на его лице. Он напоминал шедевр техники викторианской эпохи — насос, изготовленный с величайшим тщанием и искусством, старательно выкрашенный и смазанный, пыхтящий паром и вращающийся медленно-медленно, как планета.

— Это личность — мистер Холидей.

— Не верю.

— Я как раз собирался рассказать вам о нем.

— Не-а, как вы изволите выражаться.

— Пообедаете с нами?

Здравый смысл подсказывал не принимать никаких обязательств.

— Вы оба пообедаете со мной. Нет, я настаиваю. Для меня это удовольствие.

— Вы правду говорите?

— А кто вообще говорит правду?

Рик немного расслабился, хотя туча на лице еще оставалась. Я вспомнил, как его лицо выглядело раньше. День на горном солнце превратил нос, щеки и лоб в пунцовые яблоки, вишни, помидоры. Я вертел головой так и сяк, пока не поймал собственное отражение среди искаженных контуров бутылок в неизбежном зеркале за стойкой. Я-то никак не подходил под определение «краснощекий англичанин». Скорее я походил на кусок кожи, десятилетиями провалявшийся на чердаке, весь пыльный и потрескавшийся. Из зеркала на меня поглядывали тусклые глаза, нос был испещрен красными прожилками. Никому это лицо не знакомо, подумал я. Писатель — это не актер и не музыкант. Лицо — не его достоинство. Скорее недостаток, но может быть, и нет. Писатель безличен. Если бы я хотел настоящей славы, то есть чтобы меня узнавали на улице, мне следовало бы носить шляпу с метровой надписью: «Автор „Колдхарбора“». Я рад был, что не хотел славы и потому лгал Элизабет.

Я уже сидел в крохотном ресторанчике, когда появились Рик и Мэри-Лу. И он, и я были в обычных костюмах, зато Мэри-Лу, как с беспокойством

отметил я, расфуфырилась вовсю. Юбка на ней была объемистая, как бы дутая, зато выше платье туго обтягивало ее изящные формы, а декольте заканчивалось так низко, как только позволяла швейцарская *moeurs*<sup>1</sup>[\[15\]](#). Для туристов это было очень низко. Я решил, что если бы она даже очень постаралась, то не смогла бы подобрать ничего более «рассчитанного на стариков». Тем не менее я усадил ее, церемонно подставив стул ей под юбку — это мой салонный трюк, — под меня самого стул подставил управляющий, и тут произошел взрыв.

— Какого черта, кто вам разрешил снимать?

— Да ну, Уилф, просто на память...

— Никакой памяти не будет.

— Нужно было спросить разрешения, мил.

— Я не думал, что Уилф будет возражать, мил.

— Рик.

— Да, Уилф?

— Больше никогда так не делайте, мил. Я подам в суд.

Управляющий тактично исчез. Мы изучали меню, и я изводил их рассказами о блюдах, которые мне подавали в том или другом месте. Рик после прогулки сделался возбужденным и словоохотливым, да еще и чуть выпил. Мэри-Лу сидела молча и настороженно, как мне показалось, ожидая очередной глупой выходки Рика. Потом, когда я в очередной раз не сумел вызвать улыбку на этом очаровательном личике, она вдруг передумала и решила выпить. Она заявила, что желает бокал водки, пожалуйста, и Рик расценил это как выдающуюся победу. После этого я обнаружил, что они оба оживлены, а я помрачнел, утомленный собственной болтовней, завидуя их молодости и недоумевая, во что, собственно говоря, влез. Рик рассуждал об астрономии — видимо, где-то поблизости была обсерватория — и сожалел, что из своего окна они видят так мало швейцарского неба. Мэри-Лу выглядела рассеянной. Рик обернулся к ней.

— Солнце было, мил?

— Солнце, мил?

— В нашем номере после полудня, мил.

— Нет, мил, по-моему, не было.

— Если хотите смотреть на солнце или звезды, — заявил я, — мой балкон к вашим услугам. Давайте поднимемся и посмотрим. Как это выглядит на свежем воздухе. Можно даже...

Рик резко вскочил. Мэри-Лу схватила сумочку и умчалась.

— Как она это называет, Рик? Припудривательная? Я их насмотрелся в Штатах: короли и королевы, герцоги и герцогини, парни и куколки, вожди и

скво — интересно, как по-вашему? С социологической точки зрения, разумеется. По идее, предназначалось для рыцарей и дам. Но ведь это было давно. Может, теперь... но обычай этот распространяется. Я уже и в Англии такое видел. Культурный империализм.

— С удовольствием посмотрим ваши звезды, Уилф.

— Как я вырос в собственных глазах. Выпейте сначала — вот осталось на дне бутылки.

Рик прыснул. Мы молча стояли; он нервно постукивал пальцами по столу.

— Знаете, Рик, две бутылки на троих — это признак надвигающегося алкоголизма. Поскольку Мэри-Лу ничего не пила, кроме этой водки, — она что-нибудь знает об астрономии?

Настала долгая пауза. Рик с трудом пришел в себя.

— Простите, Уилф, я не...

— Мэри-Лу. Астрономия.

— Ей будет интересно.

— Мне — нет, вы же знаете. Ах нет, будет интересно. Чертово вино. Официант!

Это был все тот же управляющий. Я попросил бутылку коньяку, и она через некоторое время появилась. Рик все еще выбивал дробь пальцами.

— Ради Бога, вы что, мало набегались?

— Я не буду пить, Уилф.

Он с выражением крайнего презрения вылил коньяк из своего бокала обратно. Я, как светский человек, подогрел бокал в пальцах и понюхал предполагаемый букет, хотя начисто лишен обоняния. Время шло.

Явно побледневшая Мэри-Лу вернулась из «припудривательной». Видимо, снова вырвало. Рик налил себе коньяку.

— Уилф очень хочет, чтобы мы посмотрели на его звезды, мил.

Мэри-Лу тихонько ойкнула.

— Это будет классно, мил.

— В вашем распоряжении балкон, дорогие мои. Бесплатно.

Я подхватил бутылку. Рик вдруг остановился на полпути к двери.

— Мне нужно в туалет. Вы себе идите.

Я продолжил путь с бутылкой в руке, придержал дверь для Мэри-Лу, провел ее через крохотную прихожую и гостиную, где на столе по-прежнему лежала бумажка Рика. Распахнул стеклянную дверь, и красавица прошествовала прямо-прямо, но не в яму — на балкон.

— Осторожно!

Она стояла у самых перил. Положила на них руки, нагнулась и

посмотрела вниз.

— Бога ради! Извините, дорогая, — я боюсь высоты, причем, как ни странно, больше за других, чем за себя. Мне самому легче стоять на краю обрыва, чем видеть, как другие это делают... стоят... смотрят вниз то есть. В общем, я не выношу высоты. Старый дурень!

Послушно, словно маленькая девочка, она выпрямилась, сделала шаг, затем два назад. Я потянулся к выключателю:

— Включу свет.

Небо с множеством звезд казалось таким близким — только протяни руку.

— Как сияют, а? Лучшие друзья невест.

Я стоял за ее плечом, удивляясь, каким образом я, абсолютно не различающий аромата коньяка, могу ощущать еле слышный запах ее духов. Я приблизился.

— Мистер Баркли.

— Почему снова эти формальности?

— Рик в отчаянии. Это правда!

— Что это мы все о Рике да о Рике?

Это был банальный подход, вполне достойный Деи Каитани в «Хищных птицах». В фильме его действительно использовали — разумеется, все извратив. Моя рука поднялась словно сама собой, легонько похлопала ее по плечу и остановилась на обнаженной коже. Сердце мое колотилось как бешеное. Его удары даже отдавались в ушах.

Мэри-Лу не делала ничего. Даже менее того. Это было странно, невозможно. (Мэри-Лу нематериальна.) Возможно, это переходило грань чувственного восприятия. Возможно, это было даже за пределами духовного понимания. В конце концов, то и другое бывает различным в зависимости от климата, разве не так? Я ощущал покорность, какую-то неестественную неподвижность, своего рода тяжесть. Ее плечо — видимо, правильнее просто «плечо» — казалось менее живым, чем глыба мрамора. Каким-то образом мрамор должен был бы ощущаться... должен был бы ощущаться... должен был... Это обнаженное плечо не было не только человеческим, но даже кукольным, такое плечо должно быть у угловатого, уродливого манекена в витрине, у пластиковой фигуры, не более того. Она даже словно бы отяжелела, такой пассивной она была.

От самых подошв, преодолевая винные пары и неоформленные сексуальные фантазии стареющего самца, поднималась волна неудержимых чувств — унижения и чистого, яростного гнева. Понимать, что тебя выносят, терпят даже не из похоти, не ради денег — ради

паршивой бумажки!

Вот так мы и стояли под звездами, ничего не делая, ни слова не говоря. Мы были настолько неподвижны, что посторонний решил бы, будто мы действительно потрясены звездным небом.

Наконец я снял свою тяжелую руку с ее тяжелого плеча, чуть-чуть похлопав по нему.

— От такого обилия звезд у меня голова кружится.

Я быстро прошел к двери, включил свет во всех трех комнатах, в прихожей и даже на балконе. Мы, наверное, сияли на всю долину.

— Может, хватит смотреть, черт возьми? Занавес.

Она обернулась, глядя не на меня, а на дверь.

— Наверное, да.

— Я скажу Рику, когда он зайдет, что вы не выдержали. Головная боль. Высота.

— Не выдержала?

— Когда он вернется из...

Она покраснела до корней волос, и, клянусь, это был единственный раз, когда мне стал очевиден их заговор. Тоненьким голоском она пропищала:

— Нет... я... спасибо, что пустили меня.

Она бросилась к двери, натыкаясь на мебель, будто ничего не видела перед собой. Вдруг я ощутил, какие чувства мог бы испытывать — да, мог, но не испытывал — к Эмили.

— Мэри-Лу...

Она остановилась, полуобернувшись, вся пунцовая. Будто вернувшись в недавнее свое детство, она подняла правую руку до плеча и покрутила пальцами передо мной.

— Пока.

После чего без всякой помощи она преодолела дверь гостиной, прихожую, наружную дверь и... ковер на полу короткого коридора был слишком толстым, чтобы я мог слышать, бежит ли она, идет или спотыкается.

На что он рассчитывал? Каков был, выражаясь на нашем профессиональном жаргоне, рабочий сценарий? Полагал ли он, что мы устроим нечто вроде дуэли и она будет бегать вокруг стола, по-детски приговаривая: нет, Уилф, нет, пока не подпишете эту бумагу? Или она будет, надув губки, подползать ко мне, словно одалиска? Или она просто отдастся по-деловому, будто высморкается, и я, расчувствовавшись, скажу: вот, возьми бумагу, ты ведь этого хотела?

«Спасибо, что пустили меня»! Патетический идиотизм, девичья ранимость, оскорбительная мужская бесчувственность! Но ведь он был очень близок к цели. Будь ее кожа чуть теплее, подай она хоть малейший сигнал, все могло быть совершенно иначе! Ни он, критик, ни я, писатель, оказывается, ничего не знали о людях. Вот о бумаге знали — не более того. А ведь бедная девочка была человеком. Она не знала, как сделать это. Но и я же не знал, как сделать это! А он не знал, как предложить это. Сутенер, клиент и проститутка — все трое нуждались в помощи профессионала. Я стоял в ярко освещенной комнате, спиной к открытому окну, за которым холодно сияли звезды. Я присмотрелся к бумаге Рика на столе, затем к карточке на двери — «Avis aux MM les clients»<sup>[16]</sup>. Подумал о Рике, который лежит один в постели, возможно, слегка похрапывая, делая вид, что не замечает возвращения жены, чтобы потом не возникло необходимости разговаривать на эту тему. Но она разбудит его и доложит, что ничего не произошло, совершенно ничего, только мистер Баркли положил руку ей на плечо, да, плечо, и она понимала, что он ее хочет, но он ничего не сделал, только забрал руку и ничего не сказал, и ничего не произошло, совершенно ничего, — обними меня, прошу, пожалуйста, займись любовью со мной, — она такая, такая запачканная, и он больше никогда, никогда не должен ее просить ни о чем подобном...

Потом они наконец уснут, и ее слезы поглотят заросли на его груди.

Бумага так и лежала на столе. «Настоящим назначаю профессора Рика Л. Таккера...»

Я мог бы заставить его страдать. Мог подписать и отдать ему завтра на прогулке.

— Мэри-Лу забыла вот это, Рик. Клянусь Господом, она это заработала!

Невыразимо! От ее вида, ее очарования и детской ранимости у меня болело сердце и стоял комок в горле — и только. Но присутствовал и страх. Я понимал, что ствол наведен на меня, она меня окрутила и теперь придется бороться за освобождение. Всего одни сутки — утро, день, вечер, — и такие серьезные изменения! Вот она, западня, которой я старался избежать — и которой должен был избежать! — горькое ощущение любви бесплодной, бессмысленной, безнадежной, мучительной и, наконец, просто смешной. В очередной раз у клоуна сползли штаны.

Я в сердцах обругал себя, но тут же подумал, что не все еще потеряно. Вот на столе коньяк, утешение зрелого мужчины. Потом, будучи бумажным человеком до мозга костей, я вдруг сообразил: какой сюжет!



## Глава VIII

Проснулся я рано с подробными воспоминаниями о том, что произошло накануне вечером, и с такой абсолютной отстраненностью от действительности, какую дает только изрядная доза коньяка. Приняв ванну, я вышел в гостиную и не удивился, увидев наполовину пустую бутылку. Как ни странно, несмотря на сухость во рту, похмелья я не испытывал. А испытывал я страшную жажду, которую пришлось утолять шестью стаканами горной воды. Мне показалось в какой-то степени аморальным то, что я столько выпил и не страдал после этого, но факт есть факт — физически я чувствовал себя отлично. Злость и тоска выжгли алкоголь. Я обдумал свое новое рабство и восстал против него. «Больше не думать о ней — вот решение». Ибо она сама в это влезла, вне всякого сомнения, сама согласилась строить свою жизнь, создав с ним заколдованный круг. После вчерашнего нелепого и жалкого ее непротивления это стало совершенно ясно. Не думай о ней больше, вычеркни ее образ из памяти, Бога ради, не веди себя как убогий старец, так недолго и ума лишиться. Думай лучше о нем и о его попытках обольстить литературную птичку...

Ладно. Я дам профессору Таккеру такой урок, что он его никогда не забудет. Я прибегну к своему собственному оружию. Опишу его в книге с такой убийственной точностью, что даже Мэри-Лу покраснеет, а этот чудаковатый богач Холидей со смехом выкинет его.

Тут, конечно, подал голос профессионал-романист. Незачем выводить в книге живого, настоящего Рика Л. Таккера. С подавляющим большинством рода человеческого у него общего то, что он абсолютно недостоверен. Романисты выдумывают своих персонажей, но это вовсе не отражения живых людей. Это манекены, выструганные из дерева, слепленные из духовной глины, фигуры, неотличимые друг от друга, словно русские матрешки. Единственное, что я мог, это что-то отобрать, что-то убавить, где-то смикшировать и сотворить комически гнусную фигуру, вполне узнаваемую и терпимую, ибо ведь это «только проза».

Где-то после восьмого стакана воды до меня дошло, что мне придется делать то, чего еще ни разу в жизни не приходилось. Никакого вымысла, только отбор — я должен буду просто изучать живого человека. Этот типичный американец, этакий Джейк из глуши станет моей жертвой. Вместо того чтобы уходить от него, когда он наскучит или разозлит выше меры, мне нужно будет оборачивать ситуацию в свою пользу. Пока он

считает, что узнает что-то обо мне, я буду узнавать о нем. Вот он, охотничий азарт. Вперед! Ату его!

Завтракая и одеваясь, я пытался свести вместе все, что знал о нем, и наконец понял, что этого не хватит даже для полицейского объявления о поиске. Он большой, здоровенный — каких именно размеров? Высокий молодой человек, который залез в мой мусорный ящик, полностью закрыв его. Широкоплечий, плотный. Я уже упоминал, что он весь порос волосами, буквально лесом волос — это я лицезрел сверху донизу. Настоящие заросли под мышками, их уменьшенные копии в ноздрях; ноги у него, надо полагать, волосатые до самых лодыжек — вокруг них, наверное, обвивается грива, как у пони, вернее, как у битюга. Густая порось над низким лбом, густейшие брови, плотные и длинные ресницы. То ли волосатые айны<sup>[17]</sup> когда-то прошли по льду Берингова пролива, то ли позднейшая иммиграция перенесла это чудо-юдо на другую сторону Атлантики? Если всматриваться в профессора Таккера, а не избегать его, то получается небезынтересный тип. Сколько этой волосни можно будет оставить на страницах романа? Не очень-то много — чуть-чуть спереди, копна черных волос на голове, брови и ресницы. Вполне достаточно. Писатель в основном обыгрывает те признаки своего персонажа, которые бросаются в глаза. Прочее обходится молчанием — одежда, например. Я просто случайно знал, что ноги у него волосатые, как у пони.

Кожа. Как ни странно, белая, хотя там, где положено расти бороде и усам, она отливала синевой — корни волос, безжалостно удаленных безопасной бритвой, скрывались под поверхностью, но все равно были видны, придавая светлой, немного маслянистой коже вид... чего? Как ни странно, я ничего не мог придумать, кроме цитаты, вдруг всплывшей ниоткуда, цитаты, вроде бы не особенно подходящей к этому случаю: «Тишь и глубокая ночь».

Руки, большие, толстые, белые, тыльная сторона кисти, естественно, вся в фирменных таккеровских зарослях. И очень чистые. Чересчур чистые, ногти скорее вогнутые, чем... черт возьми, чем что? Они, словно блюдца, могли собирать дождевую воду.

Он, конечно, должен быть силачом. Такими ручищами можно сдавить... сложить в кулак и ка-ак ударить... или размахивать топором — но они никогда этого не делали. Их орудием была пишущая машинка.

Эти лохматые причинные места... нет. Пора бы тебе знать, старик, о чем не положено думать, чего нельзя касаться, что вообще ничто — ничто, лишь слабость и боль. Забудь. Не надо об этом.

Итак — на охоту!

Мэри-Лу?

Ее я буду избегать, насколько возможно, общаясь с ними лишь до тех пор, пока не наберу достаточно информации о своем преследователе. Немножко перестрадаю, зато потом она уйдет.

С Риком мы встретились в фойе. Я был в не особенно тяжелых сапогах и дубленке, Рик же вырядился так, словно собрался играть в хоккей, только коньков не было. Он казался гигантом. На груди снова ярко: «АСТРОХАМ». Да, он действительно гигант.

— Рик, какой у вас рост?

— Метр...

— По-старому, пожалуйста.

— Шесть футов три дюйма, сэр.

— А вес — только не в кило, в фунтах?

— Двести двадцать пять.

— А на четырнадцать можете разделить?

Он послушался. Я присвистнул.

— И вы так и выглядите, Рик. Какого черта вы полезли в науку?

— Я этого хотел, Уилф. Уилф, эти ваши сапоги на пересеченной местности долго не протянут.

— А они и не собираются на пересеченную местность.

— Может, не сегодня, но...

— Вы заметили?

— Да. Туман.

— О туманах почему-то в рекламе ни слова.

— Вот именно, сэр. Уилф, мне очень жаль, что я вчера не ходил к вам смотреть на звезды. Мэри-Лу сказала, что это действительно вдохновляет.

— Правда? Ладно, сегодня видимость не больше двадцати пяти метров. Мы привязаны к земле, Рик.

— Я не слишком быстро иду, Уилф?

— Пока нет, но хорошо, что вы об этом думаете.

— Может, вы удивлялись, почему я к вам не присоединился?

Памятуя о своей новой роли охотника, я кивнул:

— Действительно, почему?

— Теперь левее. Господи, туман-то сгущается, Уилф. Но ничего страшного, тут везде перила. Даже если ничего не будет видно, мы сможем на ощупь пройти над обрывом...

— Господи!

— Я вчера ничего не говорил, Уилф, но высота и меня достала.

— Вы, как и она, Рик, вы нематериальны. Никогда не встречал такую

возвышенно-духовную парочку. Но обрыв... Предупреждаю: я не люблю высоты, я даже этот чертов балкон не люблю.

— Если уж на то пошло, Уилф, мне не нравится запах этих полей.

— Вонь. Тоже мне доктор Джонсон<sup>[18]</sup>.

— Удобрения.

— Дерьмо, дурачок. Человеческое. Они его разбрасывают. У них ничего не пропадает.

Рик хихикнул и вытер салфеткой рот и нос. Вдруг он прибавил шаг и вскоре исчез в тумане в нескольких метрах впереди. Я начал всматриваться в туман и заметил, что в одной стороне чуть-чуть светлее, чем в другой. Видимо, солнце все же находилось в небе и двигалось к зениту. Может, я смогу увидеть обрыв и решить, стоит туда идти или нет. Пока что я вразвалочку шествовал по невидимым, зато очень даже пахнущим полям. Спешить мне было некуда. Одни не выносят высоты. Другие не выносят фекалий. Часам и так далее<sup>[19]</sup>.

Десять минут спустя я почуял гигиеничный запах сосен и представил их массивные темные силуэты в тумане. Рик ждал меня. Здесь воздух немного прочистился, так что одновременно с ним я увидел верхушки деревьев слева от себя, на уровне глаз, и корни сосен на берегу справа. Рик небрежно опирался на перила по левую сторону тропы.

— А, Уилф, они твердые, как скала.

Тем не менее он выпрямился и пошел рядом со мной, приспособливаясь к моему шагу. Спереди доносился шум воды, стекающей с гор. Непонятно почему он успокаивал. Я всматривался в туман и местами различал серебристую ленточку, мчавшую сквозь непроглядную белизну и пустоту куда-то к зениту. Я осмотрелся вокруг. Верхушки деревьев исчезли, значит, слева под нами была пустота.

— Вы уверены, что тропа в порядке, Рик? Вы там ходили? Перила везде надежные? Без неприятных сюрпризов?

— Без сюрпризов, сэр.

Мы зашагали рядом. Журчание приближалось, и вскоре показалась вода. Маленький ручеек вытекал из тумана справа, пересекал тропу и исчезал в тумане под нами. Рик остановился перед ручьем. Он поднял палец, давая мне знак не шуметь. Я остановился и прислушался. В правой ноздре у него было больше черных волос, чем в левой. Он был правноздрий.

Ничего не было слышно, кроме журчания ручья да еще коровьих колокольчиков где-то вдалеке. Я сел на удобном камне над ручьем и

посмотрел на Рика, вопросительно подняв брови. Он молча указал на ручей. Я снова прислушался, потом наклонился, делая вид, что принимаю, сунул в воду палец и мгновенно выдернул — вода была адски холодной.

— Слышите что-нибудь, Уилф?

— Конечно.

— Я имею в виду — вам в этом звуке ничто не кажется странным?

— Нет.

— Послушайте еще.

Действительно: у ручейка, одинокого клубка падающей воды, ненадолго прерываемого тропой, было два голоса, а не один. Веселый лепет, слегка фривольный, будто это водное тело наслаждается своим беспрепятственным падением по склону. А под ним глубокое, задумчивое ворчание, будто под наносным болтливым весельем ручей несет какую-то важную тайну из глубин горы.

— Он не один.

— Именно. У него два голоса, один из глубин...

Я удивленно посмотрел на него, нехотя испытывая некоторое уважение. После вчерашнего вечера — вдруг такое.

— Я раньше никогда не слушал воду — не вслушивался.

— Ни за что не поверю, Уилф.

Я также отметил про себя и положил в дальний ящик памяти, чтобы извлечь при необходимости, что надо написать обширный отрывок о том, как следует слушать звуки природы — без всяких замечаний и предвзятости.

— Как это получается, Рик? То есть почему вы?

— К чему это вы, Уилф?

— Прислушиваетесь к ручью!

— Я знаю, как вы меня воспринимаете, сэр. Еще один честный, но ограниченный филолог.

— О Боже! Чушь собачья! Бросьте!

— Так и есть, Уилф.

— Прямой, как палка. Искренний. Неспособный на...

Но Рик уже завелся, видимо, я затронул в нем какую-то неизвестную струну.

— Я слушаю. И всегда слушал. Птиц, ветер, воду — разные звуки воды. Иногда мне кажется, что в море можно услышать соль. То есть суть.

— Величие природы.

— Конечно. А иногда лежишь и прислушиваешься к безмолвию, хотя

это редко в наше время — но иногда удается послушать тишину — абсолютно никаких звуков — и тогда идешь, и идешь, и идешь искать...

— Таинства природы.

— Нет, сэр. Просто жизнь. А еще музыка. Бог ты мой! Но у меня нет таланта.

— Пришлось прозябать в садах Академии.

— Ну да. То есть... нет, конечно же!

— Давайте пойдем.

Рик направился ко мне, выставив раздвоенный подбородок вперед, словно шум воды излечил его от неуверенности в себе. Я пережил момент не столько мысли, сколько мгновенной оценки, когда множество вариантов, возможностей перебираются и отбрасываются за доли секунды. Я отбросил. Разве раздвоенный подбородок — признак слабости? Нет, конечно. Признак раздвоения личности? Вовсе абсурдно. Может, просто задержка в развитии костей, пережиток стадии плода, как утверждали парни-биологи, а некоторые утверждают и сейчас?

Он протянул руку, и мне показалось естественным взять ее и, опираясь, спуститься с низкого камня. Рачительные швейцарцы проложили под дорогой полые стволы, так что, хотя она и немного шла в гору, вода стекала через эти стволы. Чтобы перейти ручей, достаточно было одного шага. Мы очутились в месте, где, казалось, не было ничего прочного, только едва видимые перила слева и корни деревьев справа.

Я застыл.

— Что-то не похоже на потрясающий вид.

— Конечно.

— Если бы не тишина, казалось бы, что мы гуляем в Риджентс-парке. Я приехал сюда в ожидании живописных пейзажей, а вижу только сплошное молоко.

— Управляющий сказал, что в это время туманов обычно не бывает.

— Раз в двести лет.

— Почему вы дразнитесь?

— Я был в десятках мест, где мне говорили, что у них сейчас самая плохая погода за последние двести лет. Именно двести. В Каире, Тбилиси...

— Да ну!

— Напомните, чтобы я вам когда-нибудь рассказал о самом высоком приливе за двести лет.

— Вот и расскажите о самом высоком приливе за двести лет.

— Я когда-то стоял за рулем на яхте одного человека. Был самый

высокий прилив за двести лет. Я на ней врезался в берег.

Рик захохотал искренним, не льстивым, веселым смехом.

— Раз он был капитаном, это его вина.

— Нет, нет. Тут как раз отличился я. Чертов туман!

— Скоро начнется подъем. Надеюсь, мы выберемся выше тумана.

— Цитата — мамочка, дай мне солнышко — конец цитаты.

— Врачи сказали бы, что он исходил из ложных предпосылок.

— У него все было ложное. Старая театральная подначка.

Рик разразился хохотом. Ему было весело. Я так и представил, как он мысленно делает записи в блокноте. Все равно...

— Знаю! Знаю! Вот!

— Похоже на Вагнера.

Хохот продолжался. Вдруг туман между нами как бы изогнулся, что-то прогудело в воздухе, мягко грохнуло слева, затем снизу донесся глухой удар.

— Боже мой!

— Это гора, Рик, — заметил я, не слишком угнетенный ролью невозмутимого или, если хотите, бесчувственного англичанина. — Чертова гора, старина. Он, она или оно бросает в нас камни. Мы должны бояться. Вы боитесь?

— Я хочу назад.

Он повернулся, но я схватил его за рукав.

— Для писателя это дар Божий, Рик. Теперь мы можем точно описать, что чувствуешь, когда мимо тебя пролетает пушечное ядро. Что бы за это дал Теннисон?

— Давайте пойдем обратно, Уилф.

— Куда вы спешите?

— Поди знай, что там творится наверху, Уилф. Я знаю горы. Я родился... в общем, там может быть по-настоящему опасно.

— Прямо сию минуту.

— Ну да.

— В данный исторический момент.

— Ну!

— Молния никогда не ударяет дважды в одно место. Надо посмотреть, куда она ударила.

Поскольку густой туман не давал мне видеть ужасный обвал, я не беспокоился и хотел проучить этого сопляка, который вдруг слишком уж забеспокоился о своей безопасности. Поэтому я подошел к перилам.

— Эй, пойдем, Уилф!

— Ничего не вижу.

Я совершенно спокойно положил руку на перила и оперся. Они обломились вместе со мной.

Следующие несколько секунд можно описать несколькими словами или несколькими сотнями слов. Мой инстинкт — как всегда, словоохотливый — выступает за сотни. Тут дело не просто в том, что я зарабатываю продажей слов; нет, эти несколько секунд для меня были исключительно важны. В первую секунду, должен признаться, был просто провал, пустота. Вторая секунда ужалась до точки — шок оказался слишком мгновенным, чтобы я успел понять происходящее и даже толком испугаться. Если хотите, это была животная реакция, ощущение приближающейся смерти, падения. Третья была более, так сказать, человеческой — перила теперь катились вниз быстрее и легче, и я испытал безысходный ужас, сознание безысходного ужаса, безысходный ужас, осознающий себя, а сквозь ужас прорывалось недоверие. Потом взяло верх животное начало — каждый нерв, мускул, каждый удар сердца с невероятной энергией включились в сопротивление неизбежному. Разум исчез. Рука, державшаяся за падавший обломок перил, вцепилась в него с такой силой, что могла бы и раздавить чертову деревяшку, но мозг не отдавал простейшего приказа бросить ее. Вторая рука пыталась нащарить что-нибудь прочное, нащупала и схватила нечто похожее на растение, я перевернулся вверх ногами и очутился на выступе по другую сторону перил, ударившись головой так, что перехватило дыхание. Кусок перил выпал из моей руки, которая от шока разжалась. Не спрашивая разрешения, эта рука вцепилась во что-то. Я лежал на спине, упираясь ногами и хватаясь руками, и медленно-медленно сползал.

Чья-то рука схватила меня за шиворот. Я перестал ползти и стал изучать красные пятна и кляксы, стоявшие у меня перед глазами — все, что я мог видеть. Как я ощущал каждым нервом и артерией, между мной и ужасным концом находились пять точек опоры. Четыре из них мало что давали — руки и ноги вгрызались в мягкую землю, левая хваталась за хлипкий корень, правая рылась в мокрой жиже. И крепкий кулак намертво вцепился в воротник моей замшевой куртки. От четырех точек, может, и была какая-то помощь, но висел я на этом кулаке. Именно он удерживал меня в этом непрозрачном, неопределенном пространстве. Мир, лишенный внешних звуков, заполнился биением моего сердца, звоном в ушах и хрипами, вырывающимися из груди. Ужас был так же материален, как пространство. Разум больше не флиртовал с рассуждениями о ценности или ненужности жизни. Животное начало не имело ни малейшего



сомнения в том, что именно важнее всего. Остатки сознания свелись к единственному желанию, чтобы этот ужас — подобно бомбежке или обстрелу — прекратился. Там, за кулаком, кто-то тяжело дышал.

Я полз вниз. Тяжелое дыхание надо мной участилось. Я осмелился сдвинуть ногу и вдавить ее чуть повыше, но она скользнула мимо мокрой почвы, и я ощутил, как уменьшилась сила трения, удерживавшая меня от падения в туман.

Рик крикнул:

— Не двигайтесь.

Я перестал сползать.

— Корень над левой рукой.

Я осторожно отпустил растение и позволил пальцам ползти кверху. Да, вот он, корень — толстый, скользкий, но благодаря изгибам за него можно ухватиться.

— Подтягивайтесь.

Никогда не думал, сколько силы в моей левой руке. Пределом была лишь прочность корня. Я поднялся бы даже с гирями, привязанными к ногам.

— Переворачивайтесь. Медленно-медленно.

Я это сделал, и кулак повернулся вместе со мной; воротник при этом подался, но не треснул. Теперь я мог что-то видеть. С полметра земли, жесткой травы, камешков и тонких корней. Рик лежал на тропинке, хватаясь левой рукой за стойку, к которой крепились сломанные перила. Его правая рука держала меня за воротник. Стойка понемногу клонилась наружу, из-под нее осыпались земля и камешки.

— Господи!

Рик произнес:

— Я вас не отпущу.

Дюйм за дюймом. Я был исполнен такой надежды на спасение, что смесь страха и надежды причиняла большую боль, чем чистый ужас, потому что Рик сползал со стойкой, за которую держался, которая удерживала его вес против моего веса. Мы смотрели друг другу прямо в глаза — его глаза под нахмуренным лбом. Он выглядел абсолютно спокойным, будто речь шла не о жизни и смерти, а о каком-то мелком налоговом или административном нарушении.

Дюйм за дюймом. Подошвы, пальцы, рука, кулак... Вот уже моя кисть на тропе, затем локоть, потом я накренился на одном колене, и тут стойка сорвалась и со стуком исчезла в тумане. Наши тела переплелись на тропинке. Я прополз по ней и обессиленно привалился к корням и прочным

валунам на склоне. Ни слова не говоря, я сначала полз, потом ковылял обратно по тропе, держась левой стороны, словно пьяный, которому необходима стенка. Преодолею ручеек и свалился на камень, на котором недавно сидел. Перед собой я видел сапожищи Рика. Глубокий, низкий голос ручья вытеснил веселый. Словно гора заговорила глухим рокотом, который был слышен, а для меня и видим среди кучи падающих камней. Я начал хихикать.

— Дрожи и трясись. Лорд Альфред Теннисон.

— Успокойтесь, Уилф. Все будет в порядке.

Конечно, он знал, еще бы, профессор английской литературы. Дрожи и трясись на разбитой дороге, услада сельских парней.

Мне показалось, что я подошвами чувствую безразличную угрозу, исходящую от земли, — вулканы, землетрясения, цунами, ужасные катастрофы на этом шарике, летящем в необъятном пространстве. Вот о чем говорила вода — не мать-земля, а космическое тело, испытывающее воздействия всевозможных сил, поэтому сила тяжести проявила себя сейчас с жутким безразличием.

— Сюда.

Мощные руки подхватили меня. Меня подняло, словно ураганом, и я уперся во что-то шерстяное и теплое. Руки мои словно онемели. Щекой я прикасался к коже, волосам, мускулам на шее. Мы двигались поначалу медленно, затем будто бы вскачь. Лошадь, лошадь! Это здоровенное существо подхватило мое неподвижное тело, подбросило и окутало силой и теплом. Тепло это было неприятным — просто человеческое выделение вроде запаха дерьма, бывшего мне в нос, — потому что он мчал галопом, иначе не скажешь, по лугам в родную конюшню. Потом существо опустило меня. Другие голоса, другие руки, и вот я уже в своей кровати. Открыв глаза, я увидел над собой две громадные колонны-брючины, а на их пересечении — ширинку, направленную прямо на меня. Я поспешно закрыл глаза. Я услышал, как он отошел, и осмелился приоткрыть один глаз. Теперь он стоял в ногах кровати и смотрел в пол. На его губах играла легкая улыбка. Мне она показалась дружелюбной, но было в ней и еще что-то. Улыбка стала шире.

Я закрыл глаз. Сомнений не было. Это улыбка триумфатора.

— Вы в порядке?

Рядом с ним стоял управляющий. Они посовещались. Рик настаивал на коньяке.

Я прервал его голосом, который мне казался почти нормальным:

— Не надо коньяка. Хочу горячий шоколад.

Как в детском саду. Но управляющий поспешил прочь. Я присел. Плечи болели, будто их исколотили молотком. То и дело меня бросало в дрожь. Чувствительный ты тип, Уилф Баркли! Я закрыл глаза, смежил веки и терпел эту боль, как дополнительное звено в цепи фарса, бесплатное приложение к набору обрывков воспоминаний, рассказ о том, как Уилф Баркли упал с обрыва и его удержал...

— У меня не падали штаны. Нет у меня круглого красного носа, рыжего парика и нарисованного косоглазия.

— Ложитесь, Уилф.

— Сама эта штука, последнее кровопускание — единственная чертовщина, которая могла случиться, и она все перевернула. Как я это делаю? Чем? Мать его так!

— Вы бы легли, Уилф.

Прибежал управляющий с чашкой и блюдцем. Рик забрал их у него. Управляющий понесся прочь. За дверью слышался голос Мэри-Лу:

— Можно мне войти?

— Нет! — рявкнул я.

Рик поставил чашку на прикроватный столик. У меня закружилась голова, и я снова лег. Долгая пауза, во время которой двери несколько раз открывались и закрывались, потом опять пауза.

Ко мне обращался голос с сильным немецким акцентом.

— Думаю, у него шок. Шоколад — это хорошо. Организм сам знает, что ему нужно.

Потом я почувствовал, что у меня щупают пульс. Голос заговорил снова:

— Не так уж и плохо. Сколько лет? Ах, так! Ладно. Пейте шоколад, мистер Баркли. Профессор Таккер? Да. Просто дайте отдых. У него здоровье как у сорокалетнего.

Рик что-то пробормотал. Врач заговорил снова:

— Пришлю что-нибудь. Да, тут совсем недалеко. Прошу не забывать, даже у нас в Вайсвальде говорят, что зеленые поля убивают больше, чем белые.

Но из-под закрытых век я посылал сигналы ужаса на край вселенной. Кости были брошены — три шестерки или три единицы. И размером они были с планету каждая.

— Я подожду и дам вам лекарство, Уилф.

Он был размером с планету, заполняя мою вселенную своей необходимостью, и теплом, и улыбкой, и тонкое одеяло уносилось этим мощным притяжением, силой честолубия, которому не стоило

противиться. Я открыл глаза, спасаясь от огромных катящихся костей, и вот он стоит в ногах кровати, широко улыбаясь, громадный, как жизнь. Я ощупал себя и убедился, что куртка и рубашка на мне. Я присел, взял чашку и блюдце, которые грохотали друг о друга. На него я не смотрел.

— Позвольте...

— Оставьте меня в покое!

Неблагодарная ты сволочь, Уилф Баркли, еще и упиваешься своей неблагодарностью, как он упивался бы жестокостью, будь он для этого достаточно смелым. Смесь неблагодарности и садизма — какая чушь! Но профессор Таккер так и стоял на месте, а чашка и блюдце тряслись у меня в руках, пока я сумел наконец сделать глоток. Это немедленно успокоило меня сладостными воспоминаниями о детстве. Я сумел, как говорится, овладеть собой. Я допил до конца и протянул чашку Рiku:

— Еще!

Он буквально онемел, и улыбка сошла с его лица. Тем не менее он взял чашку и блюдце и вышел. Я обхватил руками колени. Все у меня болело. Это началось внизу, в Швиллене, когда — это же надо! — я испытывал одиночество и оно мне не нравилось — это я-то, Уилф Баркли, специалист по одиночеству, если такие бывают! Я восстанавливал в памяти ступеньки, приведшие меня в нынешнее положение, в котором я никак не собирался оказаться. Дверь спальни была открыта, и я видел, что там, в гостиной, *billet-doux*<sup>[20]</sup> Рика так и лежит на столе, неподписанная, неподвижная. Дрожь и воспоминания понемногу стали вытесняться другим чувством, которое хотя бы отчасти вернуло мне достоинство. Это был прилив безудержной ярости. Когда Рик вернулся с новой дымящейся чашкой, я отвернулся, чтобы не смотреть на него, и пробормотал обвинительное заключение:

— Похоже, я обязан вам жизнью.

## Глава IX

Ярость, ненависть и страх. Я был так зол на него, что он куда-то исчез, а я остался в рубашке и брюках и трясся, словно машина с недостающей деталью. Сначала его жена, потом, когда эта уловка не сработала, моя жизнь, мое собственное проклятое, бесценное, безраздельное достояние, вручена мне обратно, но, как я теперь понимал, на условиях безоговорочной капитуляции. И еще кое-что добавилось — физическое отвращение к его силе, теплу и вони!

Управляющий принес мне какие-то пилюли от доктора, и я провалился в сон без сновидений, сочиняя планы, например, как заманить их обоих на обрыв. Вне всякого сомнения, от шока у меня в голове что-то разладилось. То я видел, как Таккер сочиняет мою биографию, но под таким строгим контролем, что обязался поведать миру, как искушал добродетель святого Уилфрида, подсовывая ему свою красавицу жену; нескромное предложение было отвергнуто с таким тактом и добротой, что он (адъюнкт-профессор Рик Л. Таккер) пал на колени и получил такой пинок в причинное место тем самым сапогом, который считал непригодным для пересеченной местности, что немедленно удалился в монастырь, оставив свою красавицу жену...

Да, что-то во мне разладилось, вне всякого сомнения. Но лекарство подействовало хорошо — жаль, я не знаю, что это было.

Проснулся я с болью в плечах и замутненным сознанием. Я поглядел на часы, и прошло немало времени, пока я сообразил, что сегодня — это уже завтра. Во рту словно было полно едкого металла. Я долго умывался холодной водой. Ноги меня почти не держали. Воспоминание о вчерашнем дне уже не вызвало особого гнева или ярости. Остался только страх, можно даже сказать, панический. Поскольку, придя в себя после успокоительного, я был в трезвом уме и готов действовать, я ясно видел, насколько ужасны будут последствия, если позволить Рiku хоть что-нибудь — этот целенаправленный, усердный поиск в прошлом, полном непростительных воспоминаний! А девушка эта для меня невыносима, она так опасна, так разрушительна!

Бумага так и лежала на протертом и заново смазанном столе. Интересно, эта седовласая толстуха, сметая пыль, обогнула ее или же осторожно подняла, протерла под ней стол, намазала полиролем и положила обратно с такой же точностью, как рефери кладет на место

бильярдный шар? Вот она, бумажка.

«Похоже, я обязан вам жизнью».

Эта мысль привела меня в чувство, словно школьный звонок. Я обязан ему жизнью, ни больше ни меньше. Типичная история из детской книжки.

— Я тебе обязан жизнью, старина.

— Все в порядке, дружище. Не о чем говорить.

— У тебя сломана рука, старина.

— Не правая, дружище.

Снова та же дешевая комедия.

Ладно, вот лежит бумажка. Я отвернулся от нее и углубился в размышления о самом себе. Уилфрид Баркли не вписывается ни в чью историю приключений, только в пародию на нее — и то не как герой или младший приятель героя, которому тот покровительствует, а как эпизодический носитель зла, введенный в повествование лишь для того, чтобы показать: в конечном счете порок наказан, а добродетель торжествует. С ним расправляются одной левой. Уилфрид Баркли уползает, как побитый щенок, придерживая сломанную челюсть и вынашивая планы гнусной мести. Не настолько он глуп, чтобы подписать такую бумагу. Он прихватит жену и смоется.

Смоется!

А жена-то зачем? Жены есть везде. И вообще, разве я обманул самого себя? Разве она подставлялась святому Уилфриду? Осторожно! Я сходил с ума? Рик сходил с ума? Иногда его взгляд тяжелел, белки сверкали и казалось, что он вот-вот взорвется. Для психиатра он представлял определенный интерес. К черту изучение этого персонажа. Его волосня... да он просто отвратителен. Дразнить носорога и то меньше риска. Это же сумасшедший дом, а Уилфрид Баркли, святой Уилфрид, более не персонаж детской книжки, немножко займется левитацией-гравитацией. Он не будет раскланиваться, а просто исчезнет, съедет фуникулером — и поминай как звали!

Как только я принял решение, на душе у меня стало легко и весело. До сих пор я не имел представления, что такое плохая компания. Я нашел управляющего и узнал, что Таккеры отправились на прогулку. Я тут же распрощался. После шока мне необходимо одиночество, пояснил я. Хотя я заплатил за неделю, уехать нужно немедленно. (Я пообещал ему компенсацию — сказал, что расхвалю до небес его самого и отель в книге! И делаю это сейчас, хотя прошло уж не помню сколько лет, возвращаю этот долг. Отель «Фельзенблик» в Вайсвальде, Швейцария, очень удобен, из него открывается великолепный вид, а падать оттуда невероятно страшно.

Майор Адольф Кауфман, теперь, наверное, он уже генерал в отставке, ненавязчив и молчалив.) Толстуха уложила мои вещи и отнесла чемоданы на фуникулер, и в три часа я отправился вниз. Так я исчез, оставив адрес для переправки корреспонденции: отель, Акурейри, Исландия. Три часа спустя я уже летел во Флоренцию, к новой прокатной машине. Рано вечером я сидел за рулем на своей родине — автостраде — в Апеннинах. Я спокойно смотрел на проносившиеся мимо ландшафты. Ночь я провел в роскошном отеле недалеко от Ла-Ротонды. Припоминаю, с какой радостью и чувством свободы я распахнул окно, рассматривая величественные тени и сочиняя совершенно неправдоподобные диалоги между мистером и миссис Рик.

— Там здоровенная дыра в крыше, мил.

— Наверное, от бомбы, мил.

Я снова был самым собой. И спал спокойно.

Утром я не то чтобы беспокоился, но немного волновался. В конце концов, Ла-Ротонда — не менее людное место, чем Пиккадилли или Таймсквер, где, как говорится, встретишь кого угодно, если стоять достаточно долго. Проще говоря, там ходит очень много народу. Если Рик и Мэри-Лу потеряли след — даже Рик ухватит ума не лететь в Исландию, — то самым вероятным местом кажется Рим. Поехали в Рим! И он отправится туда. Разве он не говорил, что Мэри-Лу просто обязана увидеть Рим и Дублин? От этой догадки у меня перехватило дыхание. Где гарантия, что она еще не посетила Рим или, если посетила, не захочет побывать еще раз? Я сидел за очередным чугунным столиком на Пьяцца Навона, и тут, как говорится, у меня оборвалось сердце. Нет, я не увидел Мэри-Лу, я увидел Рика. Точно так же, как чуть не встречал Элизабет в те давние дни, когда это меня еще волновало. Иначе говоря, я не могу сказать, что действительно разглядел Рика. Но я вскочил так стремительно, что расплескал бы кофе, если бы я его уже не выпил.

— Господи!

Это было вполне возможно. Они могли уехать сразу после прогулки, а потом улететь из Цюриха в Рим в тот же вечер, или ночью, или следующим утром. На шоссе я буду в большей безопасности. Я не видел. Я вспоминал с абсолютной точностью. Но это была не та память, что всплывает, как говорится, из глубин. Это скорее был сдвиг во времени, или как бы щелчок, с которым один слайд сменяется другим, чтобы затем вернуть первый. В какой-то момент я задумался и решил, что Рик обладает не более чем методичностью и упорством. Он не призрак, приносящий несчастье. Он не сверхъестественное существо, способное мгновенно переноситься и

пребывать в разных местах. Он был там, на Пьяцца Навона! Просто рассматривал фонтан, пытаясь определить мифологические реки<sup>[21]</sup>. Он как раз отворачивался, засовывая свою крохотную камеру под манжету просторного свитера. Я не видел перед этого свитера с вышитым «АСТРОХАМ», но начало буквы «А» определенно бросалось в глаза. Более того, еще не прошло двух суток с тех пор, как я зарывался носом в отвратительное тепло этого самого свитера, когда он тащил меня на закорках с той чертовой горной тропы. Я сразу опознал и свитер, и здоровенные ботинки, и волосы, весьма длинные, как и приличествует серьезному филологу. Он ушел, исчез в улочке по противоположную сторону от кафе. Если бы я еще не избавился от эйфории по случаю бегства из плена, я бы вскочил и побежал еще до его исчезновения. Или выследил бы его до отеля, где возлежит нематериальное золотое облако очарования.

Я поднялся, бросил деньги на столик и поспешно ушел, настороженно поглядывая во все стороны, благодаря чему успел заметить, с какой непостижимой скоростью невесть откуда взявшийся бродяга увел со столика мои деньги, прежде чем до них добрался официант. Я все время убеждал себя, что не ошибся — не мог ошибиться. О да, я запомнил покатые плечи Рика, брюки, сшитые явно из мерного лоскута, и ботинки на неимоверно толстой подошве, с помощью которой туристы блюдут дистанцию между собой и землей, по которой ступают. Да. Если бы я не искал уединения, я мог бы даже столкнуться с ним лицом к лицу. Тут до меня дошло, что мое субъективное ощущение безопасности на Рика не распространяется. Он-то мог видеть меня независимо от того, видел я его или нет. Или у меня развились способности хамелеона? Выделялся ли я на фоне чугунного стола или выступа каменной стены?

Темные очки! Вот почему меня не беспокоит утреннее солнце! Я их купил рядом с отелем, когда вышел на прогулку. Они закрывали все лицо, кроме бороды, а бород в Риме, что васильков в поле. Меня не отличишь от профессионала, занимающегося супружескими изменами, или шпионажем, или магазинными кражами; и тут, напуганный воспоминаниями о Рике, я вспомнил, что оставил их на чугунном столе. Том самом круглом чугунном столе. Сначала мне показалось слишком опасным возвращаться на Навону за очками, но я все же решился, осторожно прокрался туда, как профессиональный джентльмен удачи, и выглянул из-за угла. Да, темные очки исчезли. Видимо, там прогулялся еще один бродяга.

Я очень расстроился, к полудню отбыл из отеля (оставив адрес: отель «Конфедерат», Роанок, штат Виргиния) и мчал по автостраде в направлении, которое, как я рассчитывал, сбило бы с толку любого



преследователя. Я направился на восток, надеясь, что удастся скрыться на проселках.

Но если это не было совпадением, то как, черт возьми, Рик дознался? Если бы он опирался на показания свидетелей, то сейчас должен был бы находиться на пути в Исландию. Правду-то я никому не сказал. Таможеннику было все равно, этот молодой человек взял паспорт и закрыл его, не заглядывая — а может, это он делал нарочно, чтобы обмануть меня мнимым равнодушием?

Тут я сбавил скорость, съехал на обочину и выключил двигатель. Я сказал себе: Уилфрид Баркли, ты еще в шоке. Тебе надо было выждать пару дней. Мэри-Лу должна была увидеть Рим и Дублин. Они осмотрели бы Рим, возможно, сожалея, что старина Уилф исчез столь необъяснимым образом, но ведь он не просто англичанин, он еще и писатель. Сложи два и два, Мэри-Лу, и тебе станет совершенно понятно, куда направиться. Вспомните хотя бы Шелли и Ноэла Коуарда<sup>[22]</sup>. Нет, мил, не вместе, порознь. Мил, ты же специализировалась по английской литературе, ты была моей любимой студенткой, не-а, ты, как выражается старина Уилф, морочишь мне голову. Нет, скажет он, тыходишь в мои верхние пределы с намерением напустить туману. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Но что скажет мистер Холидей? С этой точки зрения поведение Уилфа явно неадекватно. В конце концов, мы просто хотели кое-что узнать о его прошлом, особенно жареные кусочки, отдельные правонарушения, не говоря уже о том, что он бесчисленное множество раз выставлял себя идиотом, отчего теперь просто дергается. Он не имеет права скрывать это, мил. Почему нам не подкормиться на нем?

А что сказала бы она! Почему-то у меня не получалось сочинять речи за эту очаровашку.

Вот с Риком все было ясно.

Мил, должен сказать, я не хотел причинять тебе вреда. На меня действительно подействовала высота. Повлияла на мои мозги то есть. Но я был уверен, что с тобой ничего не случится, он тебя прогонит. Он же из тех, мил. Он тронутый. Я понимал, можешь считать это озарением, мил, что он вообще никогда не имел дела с женщинами. Он гомик. В конце концов, милая, его воспитывала мать, он учился в британской частной школе, а ты знаешь, что это такое. А теперь, милая, давай выбирайся из кровати, пойдем для начала в собор Святого Петра.

Мне понравилась моя жалкая выдумка, и я повеселел. Я сказал себе, что придаю всему этому чересчур много значения. После Рима они

направятся в Дублин и будут изучать памятные места старины Блума<sup>[23]</sup>.

А этот миллиардер, Холидей. Мэри-Лу в своей невинности явно им восхищалась. Богатство — это такой же вторичный половой признак, как талант, как гений. Я даже решил было вернуться в Рим и поискать мистера Холидея в соответствующем справочнике, но передумал.

Итак, я наконец-то мог продолжать свой путь почти без забот, в относительной безопасности. Однако я заметил в себе одну вещь. Потакание своей слабости. Я боялся быть объектом биографии. В то же время — как я ни старался этого избегать — мне льстила такая возможность. Всякий раз, натываясь в блужданиях ума на какую-то кровоточащую рану в прошлом, я тешил себя иллюзией, что теперь-то я совсем другой. И, вознося свои достоинства все выше и выше, сравнивая себя то с тем писателем, то с другим, я под конец преисполнялся сознания своей ценности, оригинальности и величия. Я ловил себя на том, что смотрю через новые темные очки из-под панамы на стайки английских туристов и думаю: «Вот бы они знали!» Итак, я катил себе и катил или сидел за круглым белым столом и пил. Мне пришло в голову — это было в отеле близ л'Акуилы, где итальянцы спасаются в жару, — что такой человек может поставить на место Холидея и Рика Таккера — такой человек гораздо больше, чем им кажется, — спасибо, профессор Таккер! Так держать! Помню, как я сидел и, как выражаются, беседовал со всепонимающей бутылкой вина, глядя, как солнце скрывается куда-то в сторону Рима, и тогда я решил, что нахожусь в ладу с собой, потому что точно знаю, какую книгу напишу. Она расширит репертуар Баркли. В ней речь пойдет о простых, вечных вещах, таких, как молодость и невинность, чистота и любовь. Я немедленно купил машинку. Место было тихое. Никто мне ничего не говорил, кроме минимальных формул вежливости. Мне нравится секс, но на любовь я не способен — вот вам! Спокойно, даже величественно, я сочинил книгу.

В ней Хелен Давенант и юный Айво Кларк катаются на лошадях по зеленым английским полям, припомнить которые с необходимой точностью мне оказалось довольно затруднительно. В общем-то это не имеет особого значения. «Лошади весной» — такая же пастораль, как «Дафнис и Хлоя» или эклоги Вергилия. Помнится, я сам был тронут до глубины души. В Хелен было что-то от Мэри-Лу — какая-то неуклюжая доброта, старательность и невежество, словом, полная невинность. Айво, должен признаться, служил конюхом после того, как побывал клерком в банке, и мне пришлось основательно почистить этот персонаж. Писалось так легко и радостно! Реакция критики оказалась противоположной (они считали,

что книга воняет конюшной), но я-то уверен, что она вышла совсем неплохой. Это было очень мирное время. Со скромным торжеством, но и с некоторым сожалением я отправил рукопись своему агенту. Я дал ему адрес до востребования в Югославии, а потом шатался в ожидании ответа по Титограду, куда никакие туристы не ездят.

Там меня ждала гора почты из Англии. Самой первой прибыла телеграмма от Лиз:

«ПОВТОРЯЮ ЧТО ДЕЛАТЬ С ТВОИМИ ЧЕРТОВЫМИ  
БУМАГАМИ ВПС ОНИ РАСТУТ С КАЖДЫМ ДНЕМ ТЧК  
ХЭМФ СЕРДИТСЯ ТЧК НАДЕЮСЬ ЭТО НАЙДЕТ ТЕБЯ  
БЫСТРО ПРИВЕТ ОТ ЭММИ ТЧК ЛИЗ».

Затем преисполненная восторга телеграмма от литагента с сообщением, что он отдал рукопись в перепечатку. Я был очень доволен и поднялся в собственных глазах. Мне нравится секс, но на любовь я не способен — вот вам! Ха и так далее.

А потом вывалилась чуть ли не тонна корреспонденции. Мне уже осточертело пить «дингач» — самое полнящее вино в мире, к тому же отвратительно приторное. Поэтому я забрал почти все в Италию и начал разбираться. Единственным, что представляло интерес, оказалось довольно вразумительное письмо (не телеграмма — письмо было отправлено раньше) от Лиз. Могу ли я избавить ее от Таккеров? Рик, видимо, работает на Пинкертона! Она не возражает против того, что Хэмфри приударяет за Мэри-Лу, она понимает мужскую натуру, а с леопарда (тут она бессознательно подпустила юмор, надо понимать) пятен не выведешь. Но ей не нравится то, что Рик встречается с Эмми в Лондоне. Я еще помню Эмми? (Убийственный сарказм.) Эмми достаточно страдала, ей и так пришлось быть слишком резкой, что не характерно для нормальной девушки, нравящейся мужчинам, и ей кажется, что Рик использует ее как заслон, как «подставу», по выражению Хэмфа, чтобы следить за мной или просто выдавливать из нее воспоминания обо мне как отце. Рик носит с проектом, который, надо сказать, должен увенчаться биографией меня, бедного Уилфа, но для начала он собирает материал об Уилфриде Баркли. Жаль, что этот тип Холидей не нашел лучшего применения своим деньгам, но власть развращает и прочая, и прочая. Она надеется, что, где бы я ни находился, я нашел счастье, ведь я (вот это вполне в духе Лиз) истратил

столько времени, денег и людей в погоне за ним. Теперь, когда злость прошла, она понимает, что я поступил порядочно, оставив ей акции, она не знает, что они с Хэмфом, не говоря уже об Эмми, делали бы без них, он пальцем не пошевелит, живет только своими удовольствиями. Постскрипtum: Неясыть жалеет о случившемся и надеется, что я счастлив с той, которая у меня есть. Ей нехорошо.

Я много раз перечитывал это письмо, потому что в нем содержалось многое и еще о большем можно было догадаться. Нехорошо! А на что можно было рассчитывать, живя с таким мерзавцем? Вообще женщинам должен устраивать замужество кто-то другой — сами они способны цеплять одних проходимцев! Они... я считал, что она это заслужила, его то бишь, но после многих лет безразличия мне стало ее по-настоящему жаль. Ну и ладно. Гораздо важнее был Рик. Боже милостивый! Пинкертон! Я так разозлился, что, хотя и убеждал себя, что она преувеличивает, не мог думать ни о чем другом. После окончания книги и появления письма от Лиз я понял, что пора двигаться дальше. Я также решил узнать что-нибудь о Холидее, который явно дергает за веревочки. Мне не понравилось упоминание «власти». Мне стали сниться кошмары. То есть не ужасы, но в них ощущалось беспокойство. Ведь во сне ваши возможности реагировать на события, которые наяву повергли бы вас в ужас, ограничены, поэтому когда во сне меня вели на виселицу, я испытывал лишь беспокойство, а не неизбывный страх, как если бы это было на самом деле. Для человека, который обычно не видит снов (лишен подсознания, как она говаривала), это весьма немало. Жаль только Неясыть и Эмми.

Я сложил вещички, выбросил гору писем, которую привез из Титограда, и направился в Рим, не снимая темных очков. В большом городе я пытался найти Холидея в справочниках. И как ни странно, не смог. Видимо, я не в тех книгах искал. Я смотрел «Кто есть кто», а надо было «Кто есть кто в Америке», но, в конце концов, в общем «Кто есть кто» пишут о всяких Фулбрайтах, послах, государственных секретарях и так далее — а Холидея там нет! Я удивился и остался бы в Риме дольше, но тут мне пришло в голову, что он либо маловажная персона, либо настолько важная, что не хочет смешиваться со всякой мелкой шушерой, и при этой мысли я испытал не просто беспокойство. Она наполнила меня ужасом. Мне снилось, что я нахожусь в Риме, и я там и был. Снилось, что я увидел рукописную афишу, из тех, что мальчишки-газетчики постоянно носят с собой и обновляют на злобу дня: например, это может быть GUERRA?<sup>[24]</sup> Или о монахине, выигравшей в лотерею: SBALIO!<sup>[25]</sup> Только на этой было

написано: DOV'E BARCLAY?<sup>[26]</sup> Я поспешно проснулся, а потом, как в настоящей жизни, заснул опять и пытался убедиться, что не ошибся, но ничего не нашел и проснулся в холодном поту.

Я пустился в бега. Видимо, так делали и раньше — носились от страха по всему свету, — но для меня это было впервые. Этот тип присутствовал повсюду — или его влияние, или его владения, или его люди. На Гавайях я как-то сидел в баре, и вдруг на другом его конце кто-то недвусмысленно заявил, что Холидей владеет половиной острова. Там было темновато, и на мне были очки, поэтому я смог незаметно подобраться к тому человеку и спросить, о какой половине идет речь, а тот со смехом ответил: о лучшей половине. Поднявшись в свой номер, я стал гадать, о том ли Холидее мы говорили. Это имя появлялось всюду, но что плохо в беготне по миру из-за страха, так это то, что приходится много пить. Кредитные карточки — вещь хорошая, но необходимо следить за сроками их действия. Я не следил. И имел неприятности, когда пересек линию перемены дат, причем до сих пор не пойму, в чем дело. Но кто, в конце концов, кроме пилотов лайнеров, обращает внимание на эту самую линию? Помню, что сделал себе еще хуже, когда сказал, что во всем виноват Холидей. Это само по себе было плохо, поскольку лишило меня инкогнито и сделало объектом внимания прессы. Но еще худшее случилось, когда два дня спустя я гулял по поселку в куда более прохладном климате, не важно где. Итак, я шел по улице и вдруг застыл от ужаса, потому что среди сушившегося белья висел свитер с надписью: «АСТРОХАМ». Тут-то я и понял, что после ареста, хотя и недолгого, опять повредился в голове. Кроме того, как я уже говорил, пил я больше обычного и перед попаданием в этот поселок был на хорошем взводе, кроме двух последних дней. Поэтому вид свитера окончательно доконал меня, и я снова запил, хотя в предыдущие двое суток придерживался сухого закона, и не помнил, что случилось. Милый и нелюбопытный молодой паренек из посольства выручил меня. Он целиком понимал, что мне необходимо скрыться от Холидея и Рика. Он оплатил чеком разные вещи, за которые я задолжал, не помню, что это были за вещи, и усадил меня в самолет.

## Глава X

Две пересадки спустя — молодой человек настоятельно рекомендовал мне некоторое время не садиться за руль — я очутился на греческом острове, где имелись еще уединенные места без канализации, на что я не обращал внимания, предпочитая это удобствам из мрамора, пластика и керамики, где слишком много толчется народу. Я имею в виду, что в наше время мужской туалет в так называемых хороших отелях представляет собой самый настоящий клуб. Никогда не знаешь, кто писает рядом с тобой. Остров этот назывался — нечего уж скрывать прискорбный факт, напомнил я себе — Лесбос или Лесвос, это уж как вы учили греческий в пятом классе. Я считал, что одиночество и песчаный пляж помогут мне отойти после ареста или арестов и сопутствующего беспробудного пьянства. Вот я и пересек остров в поисках скромного отеля и большого пляжа. (Дорога там просто неопишима! Частью она идет по высохшему руслу реки, частью представляет собой скопление камней размером с крикетный мяч — с девичий кулак, пригодных только, чтобы отгонять ворон.) Что хорошо в Греции, так это то, что обычное вино там пить невозможно. Я и до того бывал в Греции, даже продолжительное время. Я допивался до того, что убеждал себя, будто люблю рецину, а потом уже пил, руководствуясь этим убеждением. Теперь я был спасен, так сказать, от самого себя, если не считать мягкого критского вина без всяких смол — кажется, оно называлось «Минос», которое можно было покупать галониями — керамическими кувшинами в оплетке из лозы, и их можно было ставить перед собой по несколько штук.

Итак, я плавал или лежал на спине, закрыв глаза, и наслаждался тем, что понятия не имею, что там пишут и говорят о «Лошадях весной», и никто не знает, где я, и не может мне рассказать, так что пусть мистер Холидей с Риком теперь запускают когти в кого-нибудь другого. Меня все же немного беспокоило, что могут сказать люди, потому что в «Лошадях весной» присутствовало то, что можно было бы назвать Настоящей любовью, а людям это не понравится, даже если я объясню, что сделал это назло Холидею. Впрочем, как говорится, невежество — благо в любом случае. Итак, я целыми днями лежал на спине в мелкой воде, закрыв лицо маской, с трубкой возле уха, и наблюдал за этими прелестными равнодушными созданиями всевозможных расцветок, которые то проплывали величественно, то вдруг бросались рывком и мирно

приятельствовали, пока одно не решало пообедать другим. Надо полагать, когда-то (все, что я знаю из подводной археологии) на этом конце пляжа была гавань, и ее остатки видны до сих пор, потому что с точки зрения геологической истории этот остров то сжимается, то расширяется, словно игрушка йо-йо. Здесь полно мелкой, безвредной рыбешки — крупную извели рыбаки, которым приходится уходить все дальше и дальше в море, пока попадется что-то путное. Затонувшая гавань — я привык считать ее своей — не так экзотична, как то, что можно увидеть на Большом Барьерном рифе в Австралии или в Эйлате на Красном море — а я побывал и там, и там, — но она мягче, если это слово здесь уместно. А в захудалом отеле бывает по три туриста в год, и управляет им по совместительству какой-то грек, пытающийся продавать картинки, на которых девушкам поют серенады с гондол и прочее, а то и вовсе торгующий бог знает чем.

И вот после бесконечного лежания я не спеша возвращался на пляж из своей подводной гавани, как вдруг моя маска заполнилась водой. Такое случается с нами, бородачами, потому что нельзя так намазать усы, чтобы они стали водонепроницаемыми. Почему-то я встал на колени и в нетерпении сорвал чертову маску. При этом некто, как раз надевавший маску, сдвинул ее на лоб и издал торжествующий вопль:

— Не может быть! Да, действительно... Эй, выходит, мне повезло! Ты таки Джек-Потрошитель, и я получу вознаграждение!

— Пошел вон, Джонни. Ты ошибся, черт бы тебя побрал.

— Эту вилообразную бороду ни с чем не спутаешь. Она у тебя лысеет, дорогуша. Придется тебе носить парик на нижней части лица. Я уже представляю, как его подогнать.

Я присел, придерживая маску и трубку. Похоже, пришел конец каникул. Я подтянул колени к подбородку и угрюмо взглянул на него.

— Есть ли смысл просить тебя не трепаться?

Джонни окунул свое длиннущее тело в воду и присел рядом со мной.

— Послушай, Уилф. Это от многого зависит, разве не так? Вообще-то я слишком озабочен своими делами, чтобы думать еще о чем-то. Интересно...

— Ну да. Совсем как в прошлый раз.

— Хорошенькое дело. Должен сказать, Уилф...

— Не говори.

— Ладно, если благодарности тебя не волнуют... Что ты здесь делаешь?

— Если уж на то пошло, ты-то что здесь делаешь?

— Так на так — ты не скажешь, и я не скажу. Но если серьезно, Уилф,

твоя последняя вещь, «Лошади весной»...

— Ничего не хочу слышать. Черт возьми, почему нельзя укрыться от плохих новостей даже в песчаной пустыне?

— Но это так волнительно, дорогуша! Цитата — «так человечно» — конец цитаты. Эта парочка молодых — и комичный старик Эссби. Он, случайно, не основан на некоторых второстепенных особенностях вашего покорного слуги? А откуда еще ты столько о нем знаешь, Уилф? В конце концов, ты никогда не считал себя одним из нас, правда? Ты, конечно, общался, но держал себя на расстоянии, как говорили в былые времена, экспериментировал!

— Ничего не хочу слышать об этой чертовой книге.

Джонни выпрямился и лег на спину.

— Ладно, — произнес он, не в силах скрыть обиду, — ладно, Уилф, полагаю, и не захочешь.

Я тоже сдерживал свои побуждения.

— Так что, она очень плохая?

— Да ну, Уилф! Кто говорит, что она плохая? Говорю совершенно искренне: когда пришла весна и они поняли, что любят друг друга, крупные слезы застили мне глаза. Ей-богу, это так!

Он хихикнул. Я выждал некоторое время и встал. Джонни понял, что может многое упустить. Он закричал:

— Ты не можешь уйти, Уилф! До завтра никто не отвезет тебя в порт, а там суббота и в придачу праздник здешнего святого, который тебе нельзя пропустить ни в коем разе! Молебен просто потрясающий: «Господи, благослови нас, Господи, благослови их, и к чертям турок». Общая реакция совсем неплохая, смею тебя заверить. Есть, конечно, и стервятники, как же без них? Лилиан и оба Генри. Одно юное создание назвало книгу «сердечной», а это слово с тобой никак не ассоциируется. Ну как, порадовал я тебя?

— Лучше мне не стало. Впрочем, кому какое дело, шли бы денежки, а?

— Тебе уж точно дела нет. Даже Лилиан говорит, что когда ты пытаешься добавить теплоты персонажу, она расплескивается повсюду, словно утка отряхивается!

Я призадумался. Думаю, я старался быть честным.

— В конце концов, приходится писать плохие книги, если хочешь иметь возможность сочинять хорошие.

— Поработай над этим, Уилф. Пока что похоже на плохой перевод с французского. По крайней мере тебя одобряет молодой человек Эмми.

— Какой Эмми?



— Твоей Эмми. Твоей с Лиз. Молодой человек, с которым она некоторое время встречалась, этот здоровенный американский филолог...

— Таккер! Он еще в Европе?

— У меня к нему была самая настоящая *tendre*<sup>[27]</sup> — на целую неделю. Ух и громадный же парень! Как ты думаешь, его можно приучить к жестокости? Но беда с этими здоровяками американцами — то, что они все время принимают душ и пользуются совершенно асексуальным дезодорантом, в отличие от здешних рыбаков — ты когда-нибудь сидел возле них? От одного запаха получишь оргазм.

— Что он делал с Эмми? Я хочу сказать — откуда у него деньги? Он женат на... Четыре года назад у него был отпуск. Может, он получил повышение? Ну-ну.

— А ты разве не знаешь?

— О чем?

— Эта красотка...

— Хелен... то есть Мэри-Лу...

— Точно. Ага, так вот откуда эта теплота в «Лошадях весной»? Да, в ней действительно что-то есть. Так несправедливо. Так вот, она вернулась в Штаты. Таккера подкармливает какой-то благодетель-миллиардер. Она у него то ли секретарша, то ли исследователь, то ли кто-то еще. Кто-то еще, я полагаю.

— Холидей!

— Именно.

... Я снова оказался в Вайсвальде перед восхитительной Мэри-Лу.

«Нет, Уилф. Мистер Холидей очень любит дам».

Миллиарды. Триллионы. Мэри-Лу интересуется астрономией. Квадриллионы. На такие деньги можно устроить взрыв Вселенной. Не то что купить Мэри-Лу со всем Парижем в придачу. Девушка, которую ты встретил слишком поздно. Девушка, которую ты забыл. Эта часть тебя отсечена начисто. Он может купить Уилфа, выследить его, загнать. Хоть стой, хоть беги, он до тебя доберется. Расставит сети и будет ждать, пока ты попадешься. Продажная чистота, безгрешность, святость, несравнимая красота. О, горе ей, той, что пыталась вместе с Риком замкнуть порочный круг, сделать его неуязвимым, а теперь оказывается, что круг этот хрупкий и давно разбился...

— Уилф?

— Знаешь, когда круг разбит и она больше не заглядывает внутрь, зато может смотреть наружу, на кого-то другого, она, наверное, стала совсем другой — очаровательной собеседницей, нематериальной, на нее не

действует сила тяжести, она легка как воздух, дразняще парит...

— Слушай, ты пишешь фугу!

— Холидей.

— Должен сказать, Уилф... сильно припекает, тебе не кажется? Может, стоит...

— Что ты знаешь о Холидее?

— Пора уйти в тень.

Рик, наверное, положил ему докладную на огромный начальственный стол, размером во много акров: в рассуждении услуг, далее оказываемых моей женой Мэри-Лу Таккер...

— Миллиард, надо полагать.

— Пошли, Уилф. Мы же не можем потерять тебя.

За такие деньги Рик может себе позволить пустить все ЦРУ и ФБР, да и наши собственные бесполезные органы, не говоря уже о КГБ, по моему следу! Понятно, почему у меня было столько неприятностей в разных местах с паспортами и всем прочим.

— Снимай-ка маску и лапы, Уилф, будь умницей.

— Пошел ко всем чертям, Джонни, если ты в состоянии.

— Слушай, это уже грубость.

— Я серьезно.

— Должен сказать, Уилф, при всей моей неестественной привязанности к тебе, ты меня удивляешь. С чего бы это человек, так гордящийся своим равнодушием к общественному мнению, так пугается простой критики...

— Ладно. Раз ты — критическое мнение, почему это тебя волнует?

— Ты Хамли!

Конечно, Холидей опаснее Рика. В конце концов, ему-то с его источниками информации гадать не нужно. Он просто знает мою биографию и может передать ее этому волосатому литературному негру Риду Таккеру.

— Кто знает твою биографию?

Джонни стоял на ступенях отеля. Он уже не тащил меня за руку, но еще держал ее, глядя мне прямо в глаза. Я сбросил его руку.

— Мне нужно в душ.

— Воды еще нет, ты же знаешь.

— Пойду лягу.

Джонни серьезно кивнул.

— Это... гм... твоя доля. Второе блюдо матушки природы. «Макбет», смотри.

— Ха и так далее.

Джонни еще кивал в такт своим мыслям, когда я расстался с ним.

Я устал от плавания и понимал, что любая одежда будет липкой от соли и пота. Я сел на край кровати и решил ничего не делать. Я не шевелился, по-моему, даже не дышал. Ничего не думал и не чувствовал. Я загнал себя в состояние абсолютного ничто, намеренной кататонии, словно моллюск, оставленный приливом на песке. Вышел я из этого состояния, когда у меня в мозгу что-то щелкнуло — наверное, с громким звуком! — словно слепой выбежал на ужасно яркий свет. Я вспомнил Прескотта. Я никогда не видел этого человека, только получал от него письма и рукопись, которой он меня упорно преследовал. Сочинение было отвратительно до полной безнадежности, хотя в нем была заложена здравая идея. Я прямо так ему и написал, но он еще многие годы бомбардировал меня своими просьбами и замыслами. Пришлось просто игнорировать его. Но все дело в том, что замысел моего четвертого романа как раз и представлял собой ту здравую идею, что содержалась в его ужасной рукописи! Конечно, я ее должным образом обработал, но тем не менее! Клянусь, когда я писал «Бескрайнюю равнину», да и после мне и в голову не приходил Прескотт, или его рукопись, или что-то связанное с ним — это случается с любым писателем после того, как он становится известным.

Неужели я вспомнил? Было ли это работой подсознания, в отсутствии которого обвиняла меня Лиз, или я намеренно украл идею? Насколько мне известно, Прескотт так и не сумел напечатать рукопись, которую посылал мне, хотя у него вышло несколько других книг и, наверное, он известен не меньше меня. Может он вспомнить эту историю и рассказать о ней в каком-нибудь интервью? По мере того как день клонился к чуть более прохладному вечеру, мне стало казаться, что ни одно из моих абсурдных, постыдных или чуть ли не преступных деяний не осталось в стороне — они собрались все вместе, чтобы жалить меня и жечь.

Когда я наконец спустился в ресторан, ибо этот отель был единственным в городе, там меня ждал неизменный Джонни.

— Сотри печаль с лица своего, Уилф.

— Боже упаси. Я держу свои галонии в баре. Вполне пристойно. Называется «Минос».

— Должен сказать, дорогуша, только твои знаменитые странствия удерживают твою фигуру в пределах разумных размеров. Это же надо — так насиловать бутылки!

— Знаменитые?

— Твои и Амброза Бирса. Цитата: «где же Уилфрид Баркли, последний

роман которого, „Лошади весной“» — конец цитаты.

— Заткнись. Если уж на то пошло, сам-то ты что пишешь?

— Я? Большой фотоальбом для людей радуги<sup>[28]</sup>. О Сапфо, естественно. Еще не определился с названием — то ли «Дамы Лесбоса», то ли «Пылающая Сапфо». Жаль, никто на самом деле не спалил эту девку. О ней ничего не известно, абсолютно ничего. Кроме того, это считается историей, и на творчество меня не тянет.

— На сегодняшний день это лучшая цитата из тебя.

— Как ни смешно, занимаясь этой книгой, я становлюсь такой скотиной!

— Ты никогда не был классическим филологом.

— Я эротический филолог. Ты никогда не согласишься, сколько информации мне удалось вытянуть из моих подружек, а о многом я сам догадался. Ты, конечно, поклянешься никогда не использовать эту идею, но как ты думаешь, для чего первобытные дамочки пользовались изящными статуэтками матери-земли? Я даже занялся псевдоэтимологией — можешь ее назвать жаргонной геральдикой — и утверждаю, что «Лесбос» происходит от слова «олисбос» — древнегреческого приспособления, которое в нынешней рекламе именуется вибратором. А что ты нашел в своих странствиях, Уилф? Все еще считаешь себя миссионером?

— А ты?

— Нельзя требовать постоянства.

Он замолчал, а я погрузился в полусон и выплыл, только услышав голос Джонни.

— Почему тебе все это осточертело?

Он снова всматривался в различные участки моего лица в поисках информации. Я сообразил, что затем он сообщит Рику, где я. Если на то пошло, он продаст информацию газетам, а то и вовсе проклятому телевидению.

— Где он сейчас?

— Кто, Уилф?

— Мой будущий биограф.

— Ну разве ты не везунчик? Все тебе одному! Мне вот никто не предлагал описать мою жизнь, увы. Придется заняться этим самому, это же такое неблагодарное дело, своего рода литературный онанизм, что там ни говори...

— В моем случае...

— Да, да, я знаю. Ты готов публично объявить себя стопроцентным гетеросексуалом, как глупый молодой Китс. Помнишь? По-моему, это в

«Ламии». Дорогой, дорогой Уилф! Тебе это нужно как эпитафия к полному собранию сочинений. Дай-ка вспомню... Вот:

Вольно безумцам в рифмах воспевать  
Фей иль богинь пленительную стать:  
Озер ли, водопадов ли жилища  
Своими прелестями не сравнится  
С тем существом прекрасным, что ведет  
От Пирры иль Адама древний род.<sup>[29]</sup>

Какая вульгарность! Понятно, почему этот кружок сам себя прозвал «школой кокни».

Принесли мои галонии, и я взялся за них. Воспоминания, словно черви, вгрызались в мою плоть, Джейк гонялся за мной, черви грызли, а за всем этим стоял Холидей. Я подумал, что во мне накапливается напряжение, потому что я перестал писать и должен немедленно взяться за новую книгу, но все дело в том, что в голове у меня было совершенно пусто, не считая проклятых мыслей, подпущенных Джоном Сент-Джоном Джоном, который болтал, не обращая внимания на то, что я его не слушаю.

— Берегись червя...

Я вздрогнул от ужаса. Это ведь он сказал, не я! Конечно, потом я сообразил, что, пребывая в полубреду, я бормотал что-то насчет червя; но тогда я это воспринял как ужасное пророчество некроманта. Мне казалось, что все вокруг прекрасно всё видят, им оно доступно, и лишь я один погружен в себя, ничего не знаю и ограничен пределами собственной кожи, из которой не торчат антенны. Похоже, они готовы протянуть руку и похитить мое тайное «я».

— Какого червя?

— Того, что летает по ночам в реве бури... разве Бриттен<sup>[30]</sup> не был провидцем? Завидую композиторам, а ты? Они вроде математиков. Не нужно им никакой изворотливости, сидят себе на облаке, и все.

— Какого червя?

— Милый мой, они съедают тебя заживо. Поставить тебе полный диагноз?

— Не надо.

— Видишь ли, ты принадлежишь к тому типу, который биологи называют экзоскелетным. Большинство людей эндоскелетны, у них кости внутри. Но ты, друг мой, по каким-то причинам, известным лишь Богу, как

говорится о неопознанных трупах, провел свою жизнь, создавая скелет снаружи. Вроде крабов или омаров. Это ужасно, понимаешь ли, потому что черви забираются внутрь, а они, клянусь бедной моей тетушкой, нуждаются в пространстве. Так что я советую, видя, что ты намерен дать мне ссуду, а noblesse oblige<sup>[31]</sup> и все такое, избавиться от этой брони, экзоскелета, панциря, пока еще не поздно.

— Что ты предлагаешь?

— Попробуй — дай подумаю — религию, секс, приемных детей, добрые дела... По-моему, в данных обстоятельствах секс лучше всего. В конце концов, даже омары спариваются, хотя, должен признаться, не представляю, как это у них получается. По-моему, это какой-то весьма необычный онанизм, за который Всевышний не поражает молнией, поскольку дело происходит под водой.

— Лососи и все такое.

— Вот именно. Читал стишок, который я сочинил для литературного приложения к «Таймс»: «Что за рыбка — человек? Не поймешь его вовек: хоть во тьме, хоть поутру он готов метать икру». Хорошо, по-твоему?

— Нет.

— Будь ты проклят. Jeu d'esprit<sup>[32]</sup>, конечно. У тебя начисто отсутствует чувство ритма, я всегда это подозревал.

— Я устал.

— Как я говорил, тебе нужна подруга. Понимаешь, дружище, я кое-что знаю. Ты меня относишь к категории стареющих козлов, и так оно и есть, среди прочего. Вряд ли я буду есть суп из улиток. Это опять окажется мусака<sup>[33]</sup>. Правда, греческая кухня отвратительна? Если бы не чертова Сапфо... Самое меньшее, в чем ты нуждаешься, это женщина. Или ты из тех, кто под занавес жизни открывает свою истинную суть и начинает бегать за каким-нибудь молодым красавчиком?

— Заткнись, Бога ради!

— Все это должно уйти из тебя, излиться куда-то далеко-далеко, покинуть тебя с боем и лишениями. О да. Тебе нужна женщина.

— Ты какую-то конкретную имеешь в виду?

— Вот больной и так далее.

— «Макбет», смотри.

— Знаешь, что сказал Аполлон? Ну, конечно же, знаешь. Познай себя. Может, ты жил все эти годы, совершенно не зная себя. Тебе нужна подружка. Начни с собаки.

— Я их не люблю.

— Черви под панцирем — это не просто человеческий садизм, понимаешь ли. Это чистая поэзия искусства. Только Всевышний мог выдумать такое.

— Мне надоело разговаривать о Холидее, то есть...

— Ну да. Ты же всегда был прозаиком, разве не так?

— Остроумным прозаиком.

— А куда же делось твое знаменитое остроумие, *je me demande* <sup>[34]</sup>?

— Я стар. Я все быстрее и быстрее движусь...

— Куда?

По-моему, я заорал во всю глотку:

— Куда мы все идем, идиот!

Кажется, я помню слово в слово все, что он сказал после этого, потому что передо мной и сейчас стоит его лицо, приближающееся ко мне через стол, настолько близкое, что я заметил у него подрисованные брови:

— Уилф, дорогой. В оплату за ссуду. Сходи к попу или отшельнику. Если не сделаешь этого, хотя бы держись подальше от врачей, работающих вдвоем. Иначе они упекут тебя в дурку, не успеешь сказать «я не шизик».

## Глава XI

Это не биография. Не знаю даже, что это такое, потому что существуют огромные провалы, когда я не помню, что происходило, и еще большие провалы, когда я помню, что не происходило ничего. Хотя это не так и плохо — по крайней мере способствует моим попыткам придать хоть какую-нибудь упорядоченность этой кипе бумаги. Но месяцы после встречи с Джонни на Лесбосе получаются крайне обрывочными из-за состояния, в котором я пребывал. В ту же ночь, когда Джонни поставил мне столь странный диагноз, я понял, что пора сматываться. Но вместо этого я погрузился в запой, изо дня в день потребляя огромное количество «Миноса» и почти не видясь с Джонни, к числу многих пороков которого пьянство не относилось. Наконец, мне как-то удалось доставить себя на аэродром и исчезнуть. (Адрес я оставил: Риндерпест, Блумфонтейн, Южная Африка.) Хвала Господу за то, что существуют самолеты! Они позволяют за считанные часы кардинально изменить мировоззрение. Помню, я сидел рядом с каким-то типом, по-моему, канадцем, и рассуждал, как замечательно летать, потому что чем больше летаешь, тем больше вероятность, что попадешь в катастрофу, а смерть при этом будет мгновенной, чего можно только желать — «Юлий Цезарь», смотри. Канадец принадлежал к тем, кого Джонни называл бы трусливой-трусливой размазней, и ему вовсе не понравилось напоминание, что мы висим в воздухе над глубокой-глубокой водой благодаря тому, что некий сумасшедший сумел использовать законы аэродинамики. Он встал и пересел на другое место. Я понимал, что Афины просто кишат ребятами из Великобритании и Штатов, поэтому тут же улетел в Южную Африку, забыв о том, что именно там оставил адрес до востребования. Вспомнил я об этом уже в воздухе и твердо решил тут же вернуться обратно. Но — вот отсюда начинаются обрывки — я каким-то образом очутился в частной лечебнице. Я живьем столкнулся с раскаленными докрасна червями под моим панцирем и симпатичной врачихой, которая вывела их из меня всякими приемами, например, демонстрируя мне живого омара с рынка, хотя вообще-то, кажется, мне все это просто привиделось. Конечно, жар изнутри меня она удалить не смогла, но спасибо ей и на том. Мне казалось, что в более мягком климате переносить жар будет легче, но после того, как я называл столько адресов до востребования, уже почти не оставалось стран, где я не засветился бы. Поэтому я улетел в Рим (адрес: Шангри-Ла,



Катманду, Непал), но не успел самолет приземлиться, как я вспомнил Рика на Пьяцца Навона. Заметая следы, я пересел на местную линию и заказал прокатную машину. Ехал я очень медленно, поскольку вовсе не горел желанием немедленно отправиться туда, куда в конце концов придется отправиться. Теперь придется рассказать об этом островке, хотя мне этого совершенно не хочется, от воспоминаний до сих пор бросает в дрожь. Но никуда не денешься — именно там была первая половина. Вторую половину напишу потом. Вообще-то меня давно подмывает сделать это, но трезвым взяться за перо я не в состоянии — вот в чем проблема. Я-то знаю, что утром спущусь в кухню считать пустые бутылки, не опасаясь, что войдет Лиз, подобно чьему-то призраку из журнала «Вог». И «астрохам» Рик не будет рыться в мусорном ящике. Он, видимо, где-то бродит в поисках меня. Поскольку Лиз убрала этот самый ящик, я теперь могу с того места, где сижу, рассматривать через лужайку лес на другом берегу, вернее, мог бы, но не сейчас, в три часа ночи. Ведь оттуда приходят барсуки и барсучат меня, да и Рика тоже.

Ладно. Я проехался на пароме и прибыл в город, где на моих глазах убили начальника полиции. Это сделала мафия, а мне почему-то казалось, что она работает на Холидея, поэтому я тут же помчался на другой паром, отправлявшийся не туда, откуда прибыл, а дальше, еще дальше, и вот я оказался в машине на набережной городка с улочками настолько узкими, что ездить по ним нельзя было. Поскольку мне не понравился вид комплекса из трущобы, сарая, забегаловки и круглосуточно открытой лавки, который назывался отелем «Марина», я пошел в город искать что-то побольше и поприличнее, где был бы бар, а не дощатый навес, где возились две грязные старухи. Я подходил к воротам, открывал их и заходил в дома, которые принимал за виллы, а виллы в Италии сплошь превращены в отели. Следовало бы обращать внимание на то, что в этих домах нет окон. Глупо с моей стороны. В одном я прошел в конец длинного коридора, и там, естественно, оказались античные трупы, все одетые и держащиеся за стены в поисках опоры — без нее они не устояли бы. Я весь трясся, когда выбрался оттуда, но почему-то эта дрожь, которой пора было бы прекратиться, потому что я уже боялся не больше обычного, только усилилась. Я остановился среди этих домов без окон и закричал:

— Весь остров трясется!

Так и было. Говорить живым или мертвым о том, что остров трясется, — все равно что везти уголь в Ньюкасл. В конце концов я нашел отель с окнами и без трупов, не считая бармена, который явно много лет не был в употреблении; мой чемодан принесли из машины, и я до утра сидел

на краю кровати, ожидая, когда пройдет дрожь, но она не прекращалась. Наверное, я уснул, но дело в том, что у меня наконец-то вопреки словам Лиз объявилось подсознание и стали сниться такие сны, такие сны! Видимо, я даже завтракал, потому что помню, что бродил по острову и обнаружил, что он состоит из вулканической пемзы, среди которой там и сям торчали острые шпильки из темной стекловидной массы. Интересное место для нормального человека, но не для меня на грани нервного срыва. Было ли это на самом деле? Конечно, было — из-за того, что произошло потом.

Почему-то мне захотелось кофе, и я пил его чуть ли не ведрами. После этого, чтобы оставаться трезвым, я решил прогуляться, избегая центра города, мертвого центра притяжения, ха и так далее. Сицилийские похоронные обычаи — см.

Вот я и вышел, осторожно придерживаясь стен. Увидев высокую гору, я преисполнился решимости подняться на нее. Знаю, это выглядит идиотизмом, но так оно и было. Я начал приближаться к ней, как сделал бы сам старик, то есть мой ровесник, по словам Мэри-Лу — да нет, он не старше вас! Вот какая лгунья эта девица. Я в ней разочаровался. Он старше той церкви, на которую плюет. Ну и убогие же там улицы, даже для этих мест, надо сказать. Вскоре я понял, что здание, показавшееся на вершине горы, — это церковь, скорее всего собор; а испытывая невыносимый жар внутри, я подумывал выпить чего-нибудь холодненького, хотя рассчитывать можно было разве что на ужасную мерзость, какую преподносила мафия сто лет назад. Через некоторое время я вынужден был остановиться — дыхания не хватило, но сколько я ни ждал, жар донимал меня и изнутри, и снаружи, ибо день был знойный. Солнце не просто светило, а раскаляло добела воздух, который весь исходил светом. Сначала я решил, что это из-за выпитого, но потом сообразил, что плохо мне не от выпивки, как я полагал, а от другого — от того, что меня преследуют, за мной шпионят, и что от неразличения тонких границ моя способность к суждению несколько ослабла. Что касается выпитого, то я не испытывал ни малейших следов похмелья, что было крайне неприятным признаком. Даже море, окружавшее остров, почему-то отливало свинцом. Мимо меня прошел вниз островитянин, машинально крестясь. И тут я увидел, что находится наверху и почему остров трясется. Далеко на горизонте, бог знает в какой стороне, вилась струйка черного дыма, как от взрыва мегатонной бомбы.

Говорите что хотите, но когда трясется земля, это гораздо хуже, чем если бы тряслось одно только ваше тело. Тогда исчезает последнее прибежище безопасности — подспудная уверенность, что вы стоите на

чем-то твердом. Но трясение земли — лишь напоминание о том, что сумасшедший шарик мчится в космосе, а это, если дать себе труд задуматься, — не что иное, как несусветная мерзость, равная, нет, превосходящая любое преступление. Тем не менее, если вы будете искать здесь описание ужасов извержения или землетрясения, вы такого не найдете, потому что, как я теперь понимаю, я зашел слишком далеко, чтобы делать что-то, кроме как принять все это как личное оскорбление или воздаяние; как бы там ни было, трясение — то есть трясение земли — заглохло, а сходя с того места на вершине горы, я уже ничего не имел против того, чтобы весь остров, с шпилями из вулканического стекла и всем прочим, провалился в тартарары.

Началась огромная лестница, огромная не только в высоту — она уходила, казалось, прямо в небо, — но и в ширину тоже. По ней можно было провести целую роту шеренгой, вполне естественно, потому что предназначалась эта лестница для мулов — ступени невысокие и с длиной, равной ширине или — правильный архитектурный термин — глубине. Итак, я поднимался, хотя братец осел и доказывал, что эти ступени сделаны специально для его удобства, и наконец достиг площадки перед главным входом огромного здания. Это была западная дверь; полагаю, то, что случилось дальше, не могло произойти ни в каком другом месте, но кто знает? Перед средней из трех дверей сидела древняя старушка и вязала. Нет, она не была одной из трех Парок, ткущих нити судьбы, она была просто старухой, посаженной здесь, чтобы не разрешать появляющимся раз в десять лет туристам снимать в церкви. Почему? Они не любят, когда снимают, и они совершенно правы. Я принадлежу к тем немногим, которые знают, что каждый снимок отнимает у вас малую толику жизни, поэтому я на ломаном итальянском начал заверять ее, что со мной нет никакой *machina photographica*. Но она явно не поняла и ничего не сказала — люди на этом острове вообще не особенно разговорчивы. Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, я показал ей на столб дыма вдалеке и вопросительно поднял брови. Тут она мелко закрестилась и даже прекратила вязать.

— Volcano!

Ага, значит, это слово она знает. Что ж, хотя бы не водородная бомба. В хорошее местечко меня занесло, подумал я. Пора возвращаться на родную автостраду, Уилф, как только снова придет паром, и плевать мне на Рика с Холидеем и на их мафию. Итак, я зашел внутрь, и там было очень, очень темно, даже для церкви.

Тут я сообразил, что на мне по-прежнему громадные темные очки;

значит, я их не снимал несколько дней, даже когда сидел на краю кровати и, возможно, спал. Странно, но, находясь в обширном промежутке между наружной и внутренней дверью, я вдруг понял, что раз так, значит, я несколько дней не умывался. Итак, я снял очки, толкнул вторую дверь и протиснулся в нее.

Это действительно был собор — я увидел большую кафедру. Я сделал пару шагов, осмотрелся и убедился, что витражи тут ничего не стоят. Пройдя еще немного, я заметил, что в пазухах крыши размещены довольно древние мозаики. Мозаика, что стекло — чем старее, тем лучше. Я решил осмотреть мозаики целиком, а потом сосредоточиться на лучших местах, как вдруг кусок мозаики упал к моим ногам — результат последнего толчка в этот день.

Теперь я двигался медленно. Мелкий кусочек грязного синего стекла упал в метре передо мной. Я как раз стоял на правой ноге и готовился опустить левую, но я задержал ее в воздухе и посмотрел на камешек. Он был размером с полдюйма. И лежал прямо передо мной. Я опустил левую ногу и остановился. Горы бросают в меня пушечные ядра, церкви кидаются камешками размером с ноготь. Ладно, подумал я, припомнив, что случилось, когда я не обратил внимания на предупреждение горы, здесь следует быть поосторожнее. Я же не хочу свалиться с обрыва. Более того, в этом соборе была какая-то особая атмосфера. Теперь, без очков, я заметил, что в церкви темнее, чем должно быть, тем более что солнце снаружи палит нещадно, а стекла почти все не расписаны. Это можно было бы назвать полным отсутствием Христа смиренного, благостного. Мне это не понравилось, и я было собрался уйти, но понял, что тогда окажусь в бесконечном потоке времени и ничто мне не поможет забыть это. Я продолжил путь.

Сколько все это продолжалось? Я сидел на подножии колонны, и внутри меня снедал жар, несмотря на прохладу в церкви. Тело было напряжено, словно я стоял на цыпочках. Поэтому сидение не приносило никакого отдыха, и я, несмотря на упавший передо мной кусок мозаики, пошел дальше.

Это произошло в северном трансепте<sup>[35]</sup>. Я видел ее во всю ширь. Здоровенная серебряная статуя Христа, только серебро почему-то пугающе отливало синевой, будто сталь. Ростом выше меня, плечи широкие, фигура наклонена вперед, как на древнегреческих скульптурах. Христос был в венце, в глаза вставлены то ли рубины, то ли гранаты, то ли карбункулы, то ли простые стекляшки, но они сверкали, как жар у меня в груди. Может, это был Христос. Может, они просто подобрали статую в здешних местах и

переименовали ее, а прежде это был Плутон, бог подземного царства, Аида, бегущий вперед. Я стоял разинув рот, по телу бегали мурашки. Ужас пронизал меня до мозга костей. Зажатый, захлебывающийся, заблудившийся, почти уничтоженный, уносимый морем всеобщей нетерпимости, с вопящим раскрытым ртом, обделавшийся, я познал своего творца и свалился навзничь.

Думаю, меня нашла та толстуха, что вязала у дверей. Вряд ли она слышала мой крик так далеко. Да она и не прислушивалась, ее ухо было настроено на происходящее на соседнем острове. Просто она время от времени обходила территорию, проверяя, например, не сбежал ли я с дароносицей. Кроме нее, некому было найти меня.

Я пришел в себя в больнице, и мне ничего не пришлось вспоминать. Я сразу все помнил. Я лежал под присмотром монахини, которая перебирала четки точно так же, как та старуха вязала. Не знаю, нормально ли это, когда за вами ухаживает монахиня. Может, поскольку я потерял сознание в соборе, они решили, что несут за меня особую ответственность. Я не знаю, да это и не важно, в конце концов. Больница была явно не из лучших.

Я там пролежал... в общем, долго. Я так ясно увидел многие вещи, будто свет предыдущего дня — если этот день был предыдущим — наполнил меня своей ужасающей всеохватностью. Я не мог ничего видеть и ни о чем думать, кроме голой правды. Я понял, что моя жизнь была спланирована с самого начала. Я занимаю свое место на свете. Не имеет значения, что я делал или сделаю. Я был создан этой ужасной нетерпимостью в ее собственном образе. Может, вы понимаете, о чем я веду речь, но лучше будет, если не поймете. Я увидел, что являюсь одним из обреченных, проклятых — а может, и единственным. Это я видел ясно, оно пылало жаром. Ведь в аду нет век.

Пришел священник, что-то бормотал, а я смеялся, его это раздражало, а монахиня от возмущения пыхтела, словно утюг. Вот что меня так рассмешило. Это на самом деле был не священник, потому что всех настоящих священников, боровшихся с нетерпимостью, уже тысячу лет как извели, а этот был просто какой-то ряженный. Он ушел, по всей видимости, разгримировываться. После него явился врач — тот был намного лучше. Он взял обе мои руки, сжал их и кивнул. Я понял: он хочет, чтобы я ответил на пожатие, и я это сделал. Он обошел вокруг меня и, нахмурившись, произнес какое-то слово. Увидев, что я не понял, он произнес другое:

— Colpo. Colpo<sup>[36]</sup>?

«Mea maxima culpa»<sup>[37]</sup>. Ха и так далее. Я решил, что понял, что он

имеет в виду, и попытался сказать: «Si, massima colpa»<sup>[38]</sup> — но слова застряли в горле, язык не поворачивался. Он долго улыбался, кивал и хлопал меня по плечу, потом ушел. Вернувшись вечером, он нашел новые слова:

— Инносульто. Пикколо. Ма-аленько инносульто.

Я снова стал смеяться, думая о всеобщем обмолоте, но врач все кивал, улыбался и проверял мои рефлексy, после чего заверил, что у меня всего лишь легкий инсульт. Я мог бы ему ответить, что таких пьяниц, как я, инсульт не поражает, им достаются всевозможные ужасы, пока они не предстанут перед истинной красотой, пока, обреченные и проклятые, не получают первый приз — божественное правосудие без всякого милосердия. *In vino veritas*, иначе говоря.

От этих воспоминаний меня до сих пор бросает в жар. В половине четвертого ночи я от них становлюсь задумчивым, трезвым как стеклышко. То есть задумчивым в смысле размышляющим о реальностях мира. Говорят, после нескольких инсультов — да что там «говорят», я знаю по собственному опыту, — после нескольких ма-аленько инносульто ты начинаешь говорить одно, когда думаешь совершенно другое. Еще говорят, что в рифмах, в отношениях между словами нет никакого смысла, кроме физической природы мозга, но я-то знаю, как на самом деле. Уилфрид Баркли, великий консультант. Еще и как связано, когда ты говоришь «мало», имея в виду «маму», или «жара», подразумевая «жену». Именно это — наряду со строжайшей приверженностью фактам, характерной для нетерпимости, — и заставляет меня верить, что дело тут вовсе не в маленько инносульто, либо эти события просто совпали по времени.

Что это все значит? Лежа на жесткой кровати, без присмотра монахини, никем не замечаемый, беспрепятственно размышляющий о природе обреченных насекомых или, пойдем выше по лестнице эволюции, омаров и крабов, ребят с панцирями; разыскивая изначальный момент воли, то есть нашей воли, и не находя его, зная, что мы не сотворяем, повторяю, не сотворяем сами себя и что в данной эфирной ипостаси, здесь и сейчас, то, что мы делаем, не имеет значения, важно лишь то, кто мы есть, и над своими судьбами мы не властны; лежа на кровати, я говорю с дерзостью обреченного, которому нечего терять, а значит, не нужно и предпринимать напрасных попыток повлиять на божественную нетерпимость, на стального властителя Аида, подавшегося вперед! Так вот, лежа на кровати, либо из порожденной ма-ленько инносульто словесной путаницы, либо из естественного словарного запаса я вдруг сочинил пакет псалмов, если угодно, антипсалмов, сплошное богохульство, раз это ад, то почему я в нем

— Марло, см. Это напоминало спонтанное усилие, которым осы определенного вида кладут яйца в гусениц определенного вида, вполне нормально, ничего другого не следовало ожидать. Какая ирония заключена в том, что это должно быть столь разумно, столь трезво! Потому что все это время я должен был выглядеть сумасшедшим — с невнятной речью, бормочущим что-то даже не на английском, а на своем родном языке.

Тем не менее я выбрался из этого состояния и стал заново учить иностранный язык — тот, на котором пишу сейчас. Одно время я не мог продвинуться дальше отдельных слогов, и это было весьма интересно — вернее, было бы, если бы во мне уже не существовало внутреннего напряжения, которое натягивало меня, как стальную струну, — это был бы кетгут, который можно отрезать и выбросить, вот что я думал, когда еще в юности сообразил, что язык на девяносто девять процентов состоит из метафор, а сейчас имею подозрения и насчет одного процента. Как бы там ни было, я осваивал иностранный язык, вытесняя им мое так называемое бормотание. Это было трудно. Переставлять слоги туда-сюда, нет, не так, это все равно что старательно переделывать статую, рисовать всеохватывающую картину, не давать языку произносить «виски», когда мозг подумал «рассвет». Я осваивал больничные правила в состоянии близком, вот верное слово, к помешательству или белой горячке которое с тех пор к тому времени как целый воз религиозной белиберды вернется со звоном мой взрывом или взрывами вот я потерял нить.

В какой-то момент я очутился снова в отеле, затем в прокатной машине, затем на пароме, причем каждый из этих этапов запечатлелся совершенно самостоятельно, как отдельный слайд, и все это не имеет значения по сравнению со стальной струной, которая натягивалась все туже и туже и тоном все ниже и ниже, все так тут везде. Но несмотря на это, я упорно практиковался в слогах. На пароме (я наблюдал за итальянским круизным судном, по-моему, итальянцы говорили, что это «Кристофоро Колумбо», так что для моей биографии, то есть нашей биографии, можно точно указать место и дату) я попытался подумать слово «конец». А язык громко и отчетливо произнес: «грех». Я как-то по-идиотски расхохотался, усматривая связь между этим новым словом, жаром во мне, стальной струной, видениями, всем тем, что я пытался скрыть в нашем танце и что откроет биограф. Ну и смеялся же я. Но зато я наконец освоил алхимию слова и мог добавлять другие. Это напоминало хождение по тонкому льду.

«Мой — грех».

Это получилось удачно. Но, конечно, все дело в намеренной вечной ошибке нетерпимости, из-за которой происходит столько бедствий. Я

попытался снова, без напоминаний, что меня одурачили.

— Нет. Грех. Я — есть — грех.



## Глава XII

Мне не хватает смелости перечитывать все это. Тогда был черный период, и одни только воспоминания о нем тянут меня к бутылке, чего я всячески избегаю. Вот старый оборванец бродит, прекрасно сознавая, что старый сами знаете кто пристально следит за ним, что бы тот ни делал. Бродяжничество-то ладно, все равно ничего нельзя было поделать. Я этого объяснить не могу, примите уж на веру. Ничего нельзя было поделать. Пожалуйста, уловите юмор! Вот Уилфрид Баркли, и мир желает (по-мелкому желает) протоптать дорогу к его порогу (не к дому). А вот постаревший Уилф, имеющий то, к чему стремятся молодые, — столько денег, сколько он может потратить, и еще останется, конечно, стареющий, но не понимающий, что он плачет, не имеющий гнезда, если можно так выразиться, но еще способный свить гнездо, если бы задержался достаточно долго в одном месте, вольный ездить, летать, скользить, сидеть, стоять, ходить, здоровый телом и разумом, и, несмотря на все неприятности, весь мир открыт для него — короче, вот вам Уилф в состоянии абсолютной свободы. От этого следует всячески предостерегать. На свободе следует печатать официальное предупреждение, как на пачке сигарет! Учить этому в школах, проповедовать с амвонов, провозглашать в парламенте: господин спикер, слушайте, слушайте, ни за что не доверяйтесь ей, благородной деве!

Неужели это то, что я пытаюсь донести?

Ладно. Свобода бывает всякая. Всплывая на поверхность при этом анализе, я рассекал себя на разные куски, которые когда-то были единым целым и которым угрожала та самая стальная струна. Поначалу я попробовал кататонию. Это нанесло удар под дых достоинству Баркли. Я не выдержал. Не мог притворяться, что мне это нипочем. Вот, скажем, естественные надобности. Подданные королевства Кататонии способны игнорировать их, ведь послушные рабы немедля подадут им пеленки, или, как выражается Рик, памперсы. Просто у меня так не получалось, вот и все. При всем желании (видите, как размываются берега свободы) я не мог не вставать и не ходить в туалет. Мне даже приходилось есть и пить — я имею в виду не спиртное, а воду, чай, кофе, сок, в общем, жидкости. Я даже не мог подавить мысль, что женщины для меня интересны. Нет, не интересны, но много чего другого. Я обнаружил в себе глубокое отвращение к гомосексуальности. Поняв, что кататония меня слишком много лишает, я

захотел попробовать другое. Удовольствия. Вот так я решил. Тебе ведь только за шестьдесят, сказал я себе, можно еще продолжать подвиги молодости, не оглядываясь поминутно назад. Свερшай. Этот глагол должен остаться непереходным. Иди, старина, и свερшай. Свερшай заново. Раз ничего нельзя поделатъ, можно с тем же успехом что-то делатъ. Получай удовольствие, милый. Тут я принялся размышлять, на какое самое двусмысленное свερшение я способен. Я истинно христианское дитя двадцатого века, так что не подумайте, что я вляпался во что-то такое с молодыми девушками или детьми; вовсе нет.

Это свερшение. Тогда оно во мне вызывало смех — но не сейчас, после всего, что произошло позднее и в результате чего я оказался там, где я теперь. В лесу за рекой появляются первые проблески зари. Скоро займется рассветный хор, хотя я его не услышу за стуком этой чертовой машинки. Надо было купить бесшумную, я их столько наоставлял там и сям — всегда было проще купить новую машинку, чем таскать с собой одну и ту же.

Ну ладно. Опять-таки это свερшение. Я пришел к выводу, что моему вновь обретенному «я» более всего приличествует убить собаку Джонни. Мою собаку, если хотите. (Понимаю, вы, конечно, забыли о собаке Джонни. Посмотрите в соответствующем месте.)

Я думал дальше. И понял, что просто убить — это по-детски, это недостойно нас обоих, недостойно и копии, и оригинала. Нужно было нечто поистине философское, даже богословское, хитромудрое. Можете мне поверить, я думал так долго и тяжело, что временами действительно почти впадал в кататонию! Более того, мой вывод не был плодом скучных рассуждений, он не напоминал научное открытие, называемое так потому, что является результатом обработки невероятного множества статистических данных, нет, это было озарение. Оно раскрыло такие необъятные горизонты, что у меня от восхищения даже перехватило дыхание, как у монахини. Вордсворт<sup>[39]</sup>, см.

Найти Рика оказалось очень трудно. Я был в какой-то стране, кажется, в Португалии, а может, и нет, и все поиски проводил по телефону. Я связался со своим агентом и издательством. Конечно, Рик там везде побывал, но даже они не знали, где он в настоящее время, знали только, где он был раньше. Чтобы найти его, нам придется заставить потрудиться все спутники связи. Это меня удивило — я-то считал, что он должен быть привязан к своему университету, но оказалось не так. По словам моего агента, Рик был свободен, получая средства на исследования творчества вашего покорного слуги, и не стоит повторять, что эти средства он получал

от Холидея. Я дал агенту адрес до востребования в Риме и поехал туда, больше не опасаясь встречи с Риком, а, наоборот, стремясь встретиться с ним и побыстрее покончить с этим. Они там, в Англии, видимо, раскалили все телефоны докрасна, потому что на почте я получил тонну корреспонденции от издательства, литагента, от Лиз и еще всякого мусора бог знает откуда. Я сел в такси и вернулся в тот самый роскошный отель близ Ла-Ротонды.

Разбирать все это не было сил, поэтому я разбросал бумаги по номеру, позвонил агенту и сообщил название отеля и номер телефона! Я больше не беспокоился о своем инкогнито. Через час он передал мне сообщение от издательства, которое выяснило, где Рик сейчас. Он читает лекции непонятно о чем или о ком в Гамбургском университете. Я уже четко все спланировал, поэтому сел в машину и направился на север, в Швейцарию. Отъехав достаточно далеко от Рима, я остановился и позвонил ему из магазинчика при заправочной станции. Он подошел буквально через десять секунд, что удивительно даже в наши дни быстро доступного всего на свете. За все эти годы ему ни разу не удалось поймать меня, хотя много раз он был очень близок к цели. Подумав, сколько раз я видел его или считал, что видел, как он вынюхивает мой след, я громко расхохотался при мысли о том, как мой голос застанет его врасплох.

— Где вы, Уилф, где? Не кладите трубку! Не уходите!

— Не буду.

— Но вы уже столько раз это делали и тут же вешали трубку!

— Только не разрыдайтесь!

— Так где же вы?

— Скажем так — на автостраде.

— В Роппе или Штатах?

— На автостраде. Теперь слушайте, Рик, дружище. Я хочу встретиться с вами.

— Ну, конечно, конечно! Господи! Неужели это вы?

— Я собираюсь встретиться с вами в месте, нам обоим хорошо известно.

— В любом месте, Уилф! Бог мой!

— В том отеле в Вайсвальде.

Тут настало долгое, долгое молчание. Даже девушка за прилавком решила, что я закончил разговор, и вопросительно взглянула на меня. Я подумал, не испортил ли я все.

— Я жду, Рик.

— Да, понимаю, Уилф.

Я решил, что пора забросить небольшую приманку.

— Я подумываю насчет биографии, Рик.

— О Боже, Уилф, это все равно что... все равно что спастись в последнюю секунду. Господи! Он дал мне семь лет и...

— Я буду там в четверг. Скажите мистеру Холидею, пусть купит вам билет немедленно.

— Черт возьми, Вайсвальд недалеко. Туда я доберусь и на свои.

— Как Мэри-Лу, Рик?

Снова пауза. Я явственно представил, как его подбородок отходит назад. Не умеет разговаривать по телефону наш Рик. Голос его звучал тихо и оправдательно.

— У них замечательные отношения, Уилф.

— Как у нас с вами.

Вновь тишина. Я продолжал:

— Я буду там в четверг. Не появляйтесь до субботы. Я хочу побыть там один. Акклиматизироваться.

Я повесил трубку. Я не такой, как Рик. Мне легко быть жестким по телефону — не то что лицом к лицу. Будто без лица мой голос начинает принадлежать другой личности — так некоторые используют адвоката, чтобы тот делал за них грязную работу. Итак, я ехал с туго натянутой струной внутри. Ночь я провел в колоссальном мотеле, не помню, где именно, а затем через горы добрался до доброго старого Вайсвальда. И фуникулер на этот раз меня не раздражал, как ни странно. В отеле меня приветствовал не герр Адольф Кауфман, похвалу которому я поместил где-то в этом опусе, а его племянник, совершенно другой Адольф Кауфман, который, изучив заказы на номера, приветствовал меня как старого друга и провел в тот самый номер, причем на столе стояла уже откупоренная бутылка «доля». А еще говорят, что традиции ничего на стоят! Однако странно было, что управляющий так молод. Толстуха умерла, интерьер бара изменился, но все остальное было по-прежнему. При этой мысли я заглянул в зеркало в ванной и, Господи, увидел себя впервые за многие годы. Если вы не меняете фасон стрижки, потому что стричь нечего, и не бреете бороду, то у вас нет причин смотреться в зеркало. Да, время основательно отразилось на всем, что было видно, и я напомнил себе, что неплохо бы снова начать регулярно мыться. Из этого я сделал разумный вывод и немедленно полез под душ. Белья у меня в чемодане не оказалось, поэтому я заказал новое, и его почти мгновенно принесли.

Забыл сказать, что над стойкой в баре висела фотография. Поначалу я лишь мельком взглянул на нее. Из тех, что сплошь и рядом видишь в

дешевых бульварных журнальчиках, типа «полковник У. Ф. Генкельбери-Фосет по прозвищу „Драчливый пердун“ с молодой подружкой на открытии бала в Фигли-Мигли»...

Потом я присмотрелся: с подносом стоял дядя управляющего, покойный старый Кауфман. А за столом сидел бородатый козел, обратив дурацки блаженную ухмылку к девице напротив. Да, конечно, наши грехи всегда нас найдут, Всевышний вездесущ с блокнотом и фотокамерой, и он не дает нам принять желаемую позу, а просто фиксирует картину по своему непостижимому усмотрению, к нашему вящему позору. Это и вправду был Уилфрид Баркли, знаменитый Уилф, который оказал такую честь этому бару, что его снимок вывесили там, — снимок, сделанный в момент, когда он сидел и потому не мог свалиться на пол пьяным; снимок, сделанный его старым приятелем, здоровенным Риком А. Таккером, волосатым айном, силачом, от которого пахло теплом, дезодорантом и на котором так любили сидеть мухи — почему их-то не сфотографировали? Потому что они не сделали бы чести любому заведению. Мухи то есть.

И девица. Да, девица. Тут дело во вспышке. Она стирает румянец с лица, даже красивого, так что это была не та Мэри-Лу, которая обожала своего здоровенного силача и пыталась, как могла, замкнуть порочный круг, — о нет! Здесь была кукла, манекен, имитация женщины, бледная, темноволосая, застывшая, ее женственность полностью исчезла. А еще утверждают, что фотокамера не говорит правду! Вот мы: дурашливый Уилф, еще похотливый, хотя пора было покончить с этим еще двадцать лет назад, и девушка — помада такая же черная, как волосы, плоское, тупое лицо точно отражает интеллект на уровне обрывка веревки! Я закрыл глаза, не в силах смотреть дальше.

И тем не менее этот дурень на фотографии не был столь отталкивающим, как тот, которого я сегодня видел в зеркале. Вот что надо было бы заснять! А Мэри-Лу — что с ней сделали годы неудачного замужества, годы вместе с Холидеем? Рику следовало бы сфотографировать нас снова, подумал я, для сравнения — до и после, но это было бы как у Люсинды — есть обстоятельства, когда невозможно поместить два лица в одном кадре, они не могут туда попасть. Итак, я вернулся к себе, надел смену белья, подтвердил, что не брошу свой номер без оплаты, распахнул дверь в «моей» гостиной, поглядел на Шпурли, глубоко вздохнул, прошелся по балкону, ухватился обеими руками за перила, нагнулся и глянул вниз.

За пять секунд я испытал все ужасы ада. Потом не осталось ничего, кроме бездны пространства и смертоносных камней внизу, что было даже

утешительно. Так я себе сказал:

— Ты созрел.

И вовремя, надо признать! Я вернулся в гостиную, закрыв за собой балконную дверь. Стол посредине был все так же отполирован — будто поработал призрак той толстухи, но скорее всего просто другая толстуха. Единственной бумагой на нем было меню рядом с открытой бутылкой «доля». Я осторожно взглянул на бутылку. Не нужно, чтобы Рик застал меня сломленным пьянством и трясущимся. Если я хочу одержать верх, решил я, то следует собрать всю твердость, какая во мне есть. Я отвел взгляд от бутылки — это было вовсе не так легко, как может показаться, — и пошел искать теплые вещи. Управляющий выдал мне свитер и меховую куртку, оставленные кем-то из постояльцев. Удивительно, что только не остается после пьяных дурней, приезжающих ради *apres ski*<sup>[40]</sup>. На моем свитере было вышито «ПОПРОБУЙ МЕНЯ», точно как «АСТРОХАМ» на груди у Рика. Я отправился очень осторожно (помня, каким образом следует акклиматизироваться), чтобы убить время до того, как смогу позволить себе выпить. Выпивка действительно ослабляет натяжение стальной струны, но, как я говорил или как вы сами уже поняли, неизбежно порождает всяческие трудности. Не стоит полагаться на опыт. С возрастом трудности делаются только хуже. Вот бы у меня была молодая голова на старых плечах, ха и так далее. Я неторопливо шел по прохладной тропе, с которой только что сошел снег. По той самой, где мы когда-то шли вместе, а потом Рик нес меня обратно. Я бы не узнал ее теперь, когда по сторонам еще лежал снег. Раньше я почти ничего не видел из-за тумана, но сейчас было ясно, как в космосе. Тем не менее старая неуверенность, та, что вызывает необходимость акклиматизироваться, достала меня. Я шагал все медленнее, пока не остановился. Я не стал осматриваться, а присел на первый удобный камень и ждал, пока сердце и легкие немного успокоятся. Тут я заметил, что прислушиваюсь к звуку воды. Сейчас у нее был только один голос — легкий, игривый. Я открыл глаза, и, верите или нет, оказалось, что я сижу на том самом камне и передо мной те самые перила. Ага, вот и ручей. Он, конечно, был иным — гораздо шире, и вытекал он из снегового намета перед ледяной пещерой. Пещера эта сжимала воду, вот почему у нее был только один голос.

Я оглянулся. Челюсть у меня отвисла до самой груди. Ошибки быть не могло. Вот стволы для пропуска ручья, сейчас полностью затопленные. Камень служил неопровержимым доказательством. Он был такой огромный, что сдвинуть его мог только взрыв или бригада бульдозеристов. И торчал из горы, видимо, с третичного периода, тут сомнений быть не

могло. И разумеется, в прошлый раз, когда мы были здесь, я слышал в тумане коровьи колокольчики, не дав себе труда сообразить, что это означает. Старый Дон Кихот на деревянном коне.

Кто же, думал я, сочинил такую византийскую интригу? На десяток секунд я буквально ослеп от унижения и гнева — не сразу гнева на Рика; ибо, в конце концов, это был всего лишь очередной поворот дешевой комедии, вроде того, как я свалился с лошади в кучу навоза или как записка Люсинды оказалась извлечена из мусорного ящика. Раз в каждые десять лет прирожденный клоун попадал в очередную цирковую историю. Теперь добавилась еще и эта, бесспорно, лучшая из всех — как я висел в тумане на краю обрыва, как меня спас от небытия мой собственный биограф, полезно появляющийся в нужный момент и благополучно забываемый с пылающими щеками в часы бессонницы, комический персонаж, но тем не менее Рик, который всегда к услугам, Рик на подхвате, Рик-парик... Так вот, прямо под тем местом, где я отчаянно цеплялся за жизнь в тумане, расстился широкий луг и на нем паслись коровы. Динь-дон.

Я обнаружил, что стою со сжатыми кулаками и весь трясусь. Я повернулся и осторожно зашагал к отелю — осторожно, потому что не хотел, чтобы на такой высоте что-нибудь случилось с моим старым сердцем, мне нужно было дожить до появления Рика. Мне пришлось делать дыхательные упражнения, чтобы немного прийти в себя — я ведь почти ослеп от злости. В ушах у меня звенело, сердце бешено колотилось где-то под самым горлом. Не помню, как я дошел назад и открыл дверь. Помню, что посмотрел на бутылку «доля» и решил не трогать ее. Я сказал новой толстухе, молодой, которой суждено обслуживать два поколения в баре и затем умереть, что собираюсь акклиматизироваться — да, именно так я произнес это слово, ведь для разговора с Риком мне требовались все силы. Так и сказал. Повесил на двери табличку «не беспокоить», наглотался пилуль и спал с трех часов дня в четверг до полудня в пятницу. Потом встал. После легкого полдника, состоявшего из бутылки «доля», я решил, что могу рискнуть и снова выйти на тропу. Действительно, я уже акклиматизировался и до камня дошел довольно быстро. Там я сидел, подпитывая свой гнев, как подбрасывают хворостинки в костер. Не знаю, сколько времени я там пробыл. Потом будто бы сбросил все это с себя и вернулся в отель. Я расхаживал взад-вперед по гостиной, ожидая появления Рика. Я забыл, что это пятница, а не суббота, и мне пришлось сверяться с дневником, но, похоже, дневник и сам запутался, поэтому я принял снотворное и снова отключился.

Утро субботы оказалось не столь замечательным. Да нет, отбросим эту

британскую сдержанность. Утро субботы было отвратительно. Струна во мне настолько напряглась, что мне казалось, будто все остальные в отеле — там были еще три постояльца, но я решил их игнорировать — могут предчувствовать мое появление. Тем не менее я помню, как спрашивал племянника управляющего — черт, он же и был управляющим, — могу ли я воспользоваться его пишущей машинкой, будто ее нельзя было купить в Вайсвальде. Я отпечатал тщательно продуманный документ. И положил на свой отполированный стол. Там он смотрелся очень импозантно, и его созерцание помогало убить время, поэтому я сидел спиной к балкону, закрыв верхнюю часть лица темными очками, и время от времени прикладывался к новой бутылке «доля», но не слишком — мне нужно было оставаться трезвым.

Стук в дверь раздался на исходе дня. Стук был негромкий. Я намеренно оставил дверь незапертой, чтобы никто не видел, как я оказываю ему любезность.

— Войдите.

Да, это был тот самый Рик, которого я не вспоминал, но он всегда был со мной. Он заходил осторожно, едва не задевая головой притолоку, такой же большой, но в чем-то иной. Может, грудь у него немного усохла. Он стоял в дверях, жмурясь от яркого света. Затем внимательно пригляделся к комнате, словно подозревал засаду. Наконец, перевел взгляд на меня.

— Это действительно вы, Уилф?

— Ну.

Он ощерился, обнажив множество американских зубов.

— Надеюсь, вы успели акклиматизироваться, Уилфрид... сэр?

— Угу.

Он увидел бумагу. Бог свидетель, глаза у него расширились еще больше, чем рот. Можно было подумать, что у него вообще нет век, если бы — ах, эта наблюдательность рассказчика! — из них не торчали длинные ресницы. Прямо красавчик этот старина Рик.

— Это правда, Уилф, я вижу вашу подпись?

— Ага.

Его глазам уже некуда было расширяться, поэтому они слегка выкатились. Я кивнул.

— Присмотрись-ка, сынок. Будем разговаривать лицом к лицу. Я не намерен избегать тебя, как на Навоне.

Глаза закатились обратно. Я видел, как углубились морщины у него на лбу — там, где они были видны. Я вам рассказывал о его волосах? Нет. Так вот, профессор Р. Л. Таккер остриг космы и сделал прическу в стиле афро.



Именно так. Волосы теперь курчавились и стали гораздо реже, чем прежде; и я заметил еще кое-какие изменения, доступные лишь взгляду опытного наблюдателя, например, в одежде. Белые брюки были расклешены внизу, клинья с блестками. Меня так занимали метаморфозы с его глазами, что я не обращал внимания на остальное, а тут вдруг заметил, что из рубашки внизу вырезан изрядный кусок, так что был бы виден пуп, если бы его не скрывали заросли, подлесок, рощи таккеровских волос. Конечно, если у вас волосатая грудь, зачем это скрывать? Пускай все видят. Тем не менее его экстравагантное одеяние вынудило меня отказаться от усредненной англоязычности в пользу родного британского варианта.

— Почему бы вам не сесть, профессор?

Он опустил на стул напротив меня. Послышался жалобный треск.

— Как Рим, профессор?

— Вы меня называли Риком, Уилф, сэр. Когда это было?

— Полноте вам! Сразу после того, как я уехал отсюда сто лет назад, вы последовали за мной в Рим. Это было разумно. И удачно, разумеется.

Но Рик не слушал. Он так уперся взглядом в бумагу на полированном столе, будто она могла в любой момент улететь. Для упрощения процесса я убрал ее.

— Нет абсолютно никаких оснований делать это, Уилф, сэр. Уверяю вас.

— Как это вы научились так говорить, Рик? Не иначе, годы в Англии не прошли даром.

— А как вы научились так говорить, Уилф? Я имею в виду тон. Он огрубел.

— Не будем беспокоиться о географии, Рик. Просто расскажите ради интереса, что вы делали тогда в Эворе.

Он заморгал. Глаза уже не так сильно выкатывались.

— Где это — Эвора, Уилф?

— Будьте мужчиной, Рик. Я просто хотел узнать, что вы там делали. Ладно, вижу, вы решили не давать показаний без адвоката, и, в конце концов, почему бы и нет? Пока что вам будет интересно узнать, что я акклиматизировался. Я дважды возвращался в то место. Вы же знали, разве нет? Я висел в тумане на волосок от смерти, перепуганный до ужаса, а в метре подо мной был здоровенный луг, альп, как здесь говорят. Если бы я не удержался, я бы прокатился этот метр, а чтобы падать дальше, мне нужно было пересечь луг и броситься с другого конца. Только не мотайте головой. Вы знали. За день до того вы ходили на разведку и привели меня в то место — о да, конечно, обвал вы не подстраивали, но для вас это было

колоссальным везением — туман, камни сломали перила, а я на них оперся! Вы очень находчивы, профессор, надо отдать вам должное, вы облапошили меня, вы мерзавец, Рик...

— Нет, сэр, нет, я никоим образом...

— Цитирую: Похоже, я обязан вам жизнью. Конец цитаты.

— Но, сэр, это же вы сказали, а не я, и...

— Конечно, протянули руку старому насекомому, подложили яйца под мой панцирь, я в этом нисколько не сомневаюсь, но, Господи, вы же были на стороне Творца, так ведь?

— Я не...

— Если бы я из обычной трусости не сбежал, бог знает, что могло бы произойти.

— Должен вам сказать, Уилф. Помните, я ходил на самый Хохальпенблик. Я это делал только один раз, при дневном свете. С вами я шел в тумане. Я не мог изучить каждый метр тропы, а чтобы знать, что там в тумане, я должен был быть компьютером.

— Вы знали.

— Ладно. Пусть я знал. Но я только догадывался, я не мог быть уверенным. Поверьте мне, Уилф, я действительно думал, что рискую своей шеей ради вас. Клянусь.

— Честное скаутское.

— Вы мне причиняете боль, Уилф.

— Так поплачьте. Потом мы займемся собакой.

Странно, но память подсказывает мне, что глаза Уилфа действительно заполнились влагой, и он извлек откуда-то салфетку и начал их промакивать.

— После всех этих лет, Уилф...

— Заткнитесь. Разве вам не нужна эта бумага?

Некоторое время он сопел и вытирал глаза. Потом заговорил упавшим голосом:

— Да, Уилф. Нужна.

— То-то же. Продолжайте. Хорошее представление, Таккер.

— Вы меня называете...

— Знаю, Таккер. Теперь. Расскажите мне о Холидее. Только не увертывайтесь. Запугать вы меня не можете. Выкладывайте все восхитительные подробности.

На этот раз Рик собирался с мыслями дольше.

— Он чудесный... те, кто его знает...

— Мэри-Лу.

— Вы знаете, она специализировалась по фитодизайну и библиографии, сэр, так что в его коллекции ей нашлось что делать.

— Он взял Мэри-Лу экспонатом.

— Нет, сэр. Для рукописей.

— Ха и так далее.

— Я знаю, вы не интересуетесь историей литературы, Уилф, вы сами история...

— Я не интересуюсь историей, точка. Ее надо раскатывать, как свиток. Холидей! Говорите о Холидее.

— Например, за это он отдаст что угодно.

Его рука протянулась за документом, который я напечатал. Я шлепнул его и отодвинул бумагу подальше.

— Противный!

— Но, Уилф...

— Если уж на то пошло, почему вы одеты, как клоун?

Рик осмотрел то небольшое из своей одежды, что мог видеть за густыми зарослями. В эти заросли плакалась Мэри-Лу — а плакалась ли? Это факт или просто игра воображения? К собственному удивлению, я обнаружил, что не могу провести различия.

— Что вам не так в моей одежде? В прошлый раз, когда вы меня видели, я был одет еще почище. У меня была цепочка на шее. Я ее снял, потому что считаю, что для Вайсвальда она не подходит.

— Только не хнычьте.

— Ладно. Не буду.

— Я не то имел в виду. В прошлый раз, когда я вас видел, вы одевались не более традиционно, чем битлы. Продолжайте, Рик. Я об этом знаю все.

— А вы тоже хороши, сэр. Размахивали этой бумажкой у меня под носом!

— Когда? Где?

— В Марракеше. Помните?

— Рик...

— Должен сказать, это было нехорошо с вашей стороны, Уилф. Но я всегда понимал, что вам и еще несколькими таким, как вы, многое позволено.

Я всмотрелся в его глаза. Такое выражение бывает у политика, когда он сказал больше, чем следовало; я увидел страсть, веру, компромисс, честолюбие, напряжение. Вокруг радужной оболочки четко вырисовывались белки. Это не обязательный, но довольно верный

показатель степени напряжения, способного завести в ад. А может свидетельствовать о боли, о страхе. Ладно, почему бы и нет? Человек кусает собаку.

— Тогда расскажите мне о Марракеше, Рик.

— Рассказать? Ну хорошо. Это было перед «Отель де Франс». Бога ради, Уилф. Это же должно быть в вашем дневнике, загляните туда!

— Еще. Продолжайте. Подробности!

Рик развел руками. Это было так не похоже на него, что я понял — он на грани отчаяния.

— Вы стояли на балконе слева от главного входа — на втором этаже. Вы увидели меня. Засмеялись и помахали передо мной бумажкой. Потом исчезли в номере — розыгрыш вполне в вашем духе! Я могу понять юмор, Уилф.

— А откуда вы знали, что эта бумага назначает вас моим литературным душеприказчиком?

— А что еще там могло быть? Я не против шуток, Уилф, только... я подошел к портье, и он сказал, что вы там не живете. Я решил, что вы зашли к кому-то в гости, поднялся на второй этаж, стучал во все двери и прислушивался.

— Рик.

— А?

— Когда это было?

Он наморщил лоб:

— Шесть... нет, семь месяцев назад.

— Последний раз я вас видел, Рик, больше года назад. Вы шли под сводом отеля в Эворе. На вас был светло-серый костюм, вы двигались в противоположную сторону и не заметили меня. Мне пришлось немедленно уехать.

— Я никогда...

— Спокойно. Если я вам скажу, что говорю чистую правду, и поклянусь всем, во что верю, теплом, светом и звуком, нетерпимостью, необходимостью — вы мне поверите?

— Да, сэр. Поверю!

— Рик. Я это говорю со всей силой и убежденностью. Я никогда не был в Марракеше!

Пауза.

У него выпучились глаза! То есть белки расширились и тут же, как мне показалось, резко сузились. Он тяжело вздохнул и положил руки на стол. Потом усилием воли придал глазам нормальную эллипсность, так что

радужные оболочки частично закрылись. Он не то чтобы сдулся, а как бы вернулся к своим нормальным размерам после долгих усилий изображать из себя надутый пузырь. Он стал улыбаться. И непрестанно кивал.

— Конечно. Я все это вижу, Уилф. Это был кто-то другой. Я столько думал о вас, и о том, как мне необходимо написать вашу биографию, и о том, что мистер Холидей постоянно требует ее, а потом, после стольких неудач, увидел кого-то как две капли воды похожего на вас...

— Охотник и жертва.

— ...и, черт побери, у вас борода, Уилф, а все эти айрабы бородатые...

Я кивал в такт его кивкам. Прямо-таки пара фарфоровых болванчиков. Я ободряюще улыбнулся ему.

— Полагаю, вы смотрели против солнца.

— Вполне могло быть, Уилф. В это время, после сиесты, солнце стояло как раз над отелем, над... тот человек, которого я видел, смеялся и размахивал передо мной бумажкой...

— Видите, как просто?

— Но сейчас-то я знаю, где вы.

— Вы не знаете, где я. Никто не знает.

— Ну, конечно, сэр, нет нужды... Но теперь мы ведь можем поддерживать связь, а вы в вашем состоянии...

— Вы не знаете, в каком я состоянии! Никто этого не знает!

— Нет, нет, сэр. Конечно, нет. Ладно, сэр. Давайте лучше...

— Холидей. Вот он знает. И больше никто.

— Лучше...

— Скажите «гав-гав».

Я перевел дыхание и откинулся в кресле. Развернул документ и перечитал его. Вроде все правильно, но тут меня обожгла мысль, что он должен быть заверен нотариусом. Я разозлился при мысли, что столько времени и сил потрачено даром; но, в конце концов, есть же в Цюрихе нотариусы и адвокаты. Тем не менее я все равно злился на себя.

— А что вы скажете, теперь ведь ваша очередь, Уилф.

— Очередь?

— Ну, в этой игре. «Гав-гав».

— Ах, это! Ничего не скажу.

— Не понимаю, Уилф.

— Все станет ясно в должное время.

— Эта бумага, Уилф...

— Ее вы тоже не получите. Только не кипятитесь, Рик, старина. Мой друг, племянник управляющего, и новая молодая толстуха выкинут вас

отсюда. Я хочу сказать, что именно эту бумажку вы не получите. Но если будете хорошо себя вести, получите другую красивую бумагу с подписью и печатью...

— Уилф, сэр, не знаю, как...

— ...в соответствующих местах. Однако этому будут предшествовать необходимые формальности.

— Что угодно! У меня осталось меньше двух лет, Уилф. Вы просто не знаете...

— Вот так плохо?

— Что угодно. Да, сэр.

— Ладно, как мы договорились, я должен знать все подробности сделки между вами и сами знаете кем.

— Мистером Холидеем?

Я величественно кивнул. Рик озадаченно потер нос. Впрочем, он уже расслабился. Развеселился.

— Очень просто. Он финансирует меня. Семь лет, чтобы я мог посвятить себя...

— А давно у него Мэри-Лу?

— Мэри-Лу больше ничего для меня не значит, сэр.

— Вы даже изредка ее не используете?

Настала долгая пауза. Я бросил ему спасательный круг.

— Он крутой работодатель, мистер Холидей. Если вы в течение семи лет не поднесете меня на блюдечке и не представите мою авторизованную биографию — неполную, разумеется, я же еще не совсем выпал из литературного процесса, — будет плач и скрежет зубовой.

— Он прекратит финансировать исследование. Но послушайте, сэр. Я же не беспомощен, я могу обратиться к другим...

— Опять вы хнычете. Других нет. Давным-давно, много лет назад, я думал, что вы скажете, допустим, Гугенгейм или Фулбрайт, но нет. Она бы не пошла просто ради денег, Рик, и не разбила бы мне душу, и не ставила бы меня и вас в идиотское положение. Понимаете? Похоже, она хотела ублажить и меня, и его, служить одновременно Богу и Маммоне. Догадайтесь, кто есть кто.

— Вы обещали эту или подобную бумагу! Вы же не откажетесь от своих слов, сэр!

— Не откажусь. Но вы не даете мне времени изложить условия.

— Я забыл. Это ужасно.

— Я еще не вручаю вам эту бумагу и не дам ее здесь. Вам придется выполнить определенные условия.

— Что угодно...

— Я разрешу вам написать официальную, авторизованную биографию Уилфрида Баркли, везунчик вы этакий. И предоставлю всю необходимую информацию. Назначу вас распорядителем всех имеющих ко мне отношение материалов.

— Клянусь...

— Биографию я проверю от первого до последнего слова.

— Естественно, естественно!

— Встретимся там и тогда, где я укажу.

Тут он совсем уже сник.

— Но, сэр... Уилф... ваше здоровье...

— Вы имеете в виду, что я могу типа сыграть в ящик?

— Нет, сэр, но ваша память уже не в самой лучшей форме. Писатели — люди рассеянные, вы же знаете, Уилф.

— Не настолько рассеянные, чтобы ставить все деньги на один номер, как делаете вы, Рик. Вы же полностью в моих руках. Я вам разрешаю. И только. Вам разрешение, мне — подношение. Вот так.

— Сэр.

— Завтра утром я уеду. И больше никогда не появлюсь в этом месте — тут я могу разнюниться. Вы за мной не последуете, иначе сделка не состоится. Раньше или позже сможете представить меня Холидею.

— Это чрезвычайно трудно.

— Но вы, расчудесный мой, сможете это сделать. У вас доступ имеется.

— Нет, сэр, мистер Холидей разрешает доступ к своей особе только самым красивым женщинам.

— Никаких мальчиков? Никакого скотоложества? Вовсе без извращений, пыток, убийств? Что, все его миллиарды идут исключительно на ewige Weib<sup>[41]</sup>, или как это у них называется? Ладно, Рик. Вы знаете, как мы, посвященные в истинное знание, возвращаемся к примитиву, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Одно из... Господи, Рик, похоже, из меня прет целая лекция!

— Подождите минутку, сейчас достану магнитофон...

Он извлек аппаратик из рукава.

— Вот это?

— Ну да. Он и фотографировать может. Но, Уилф, к вам я никогда не приближался без этой штуки в рукаве, только иногда он не улавливает звук, так что лучше поставить его на стол.

— Вы никогда меня не записывали!

— Всегда записывал, сэр, еще за обедом в вашем доме. Жаль только, при нашем ночном столкновении его со мной не было.

— Не верю!

— А завел я его еще раньше. Не этот аппарат, конечно, но такой у меня был еще в колледже. Должен сказать, за эти годы у вас даже акцент изменился!

— Не следует нести чушь больше, чем необходимо. Акцент у меня всегда зависел от обстоятельств.

— Нет, сэр.

— Раньше? До того, как вы приезжали ко мне и Лиз?

— Когда вы были в Штатах. Когда-нибудь я вам проиграю это.

— Не стоит. На ступеньках наших мавзолеев или что-то вроде того. Вы это сотрете, или сделки не будет.

— Записи мне не принадлежат, сэр.

Я долго переваривал все это. Конечно. Холидей держит их в своем фонде по Баркли. Они, как и Мэри-Лу, являются частью сделки. Господин дал — господин взял, да будет проклято вовеки его имя. Кто знает, где его берлога? Кто в состоянии противостоять ему, напасть, сразиться, свергнуть его? Единственное, что мы можем сделать, — это бросать камни в лоб его прислужникам в надежде как-то уязвить хозяина.

— Уилф, вы собирались произнести речь.

— Ах да. Лекцию. О ритуалах посвящения. Вам-то они известны, Рик. Например, ритуал посвящения — это когда вы обнаруживаете, что вместо того, чтобы выискивать кнопки — у вас они называются булавками для бумаг — где-нибудь у мамочки в сумке, в пепельнице, на тарелке, на каминной полке, которую благовоспитанные джентльмены именуют надкаминником, вы можете просто пойти в магазин и купить целую коробку. И тогда вы понимаете, что произошло. Вы стали хозяином в доме. Другой ритуал имеет место, когда вы обдуманно убиваете кого-то, например, собаку. Кстати, что вы пьете?

— Все, что угодно, надо полагать.

— Бурбон? Говорят, он снова входит в моду. Водку? Шотландское виски? Я лично предпочитаю вино.

— Охотно выпью, Уилф.

— Когда вас посещает видение всеобщей ярости, нетерпимости, — черт побери, Рик, то, что изображают на картинах там и сям, скажем, в Италии, это вовсе не видение, на самом деле оно подобно катящемуся камню, и вы понимаете, что это навеки, как алмаз. Вот это ритуал посвящения.



— Да, Уилф.

— Вы записываете?

— Полагаю, запись идет.

— Хитрая штука! Что-то мне захотелось кофе. Вы бы не могли сходить и принести мне кофе, Рик? Просто чтобы показать этой машине, как вы почитаете старика?

Он ринулся стремглав, как ребенок, которому после взбучки показывают, что солнце снова засияло. Я сидел и смотрел на чертову машину. И издавал всякие смешные звуки, потому что фотокамера там не замечала лиц. Вернулся Рик с двумя чашками кофе на подносе.

— Сперва выпьем вина, старина Рик.

— Как скажете, Уилф.

— Налейте вина в блюдце, Рик.

— Сэр?

— А как вы думаете, зачем я потребовал кофе? Пить, что ли? Так я вполне обошелся бы и чаем.

Рик поставил поднос на стол. Глаза у него снова были навывкате. Он опустил на стул.

— Это ритуал, сынок. После него ничто не остается таким, как прежде. Можно лечь в постель, и встать, и делать это, пока ад не посинеет, и ничего не происходит. Тут все иначе, правда? Посмотрим, что мы имеем. Вы получите разрешение, как я сказал. Но где гарантия, что вы станете выполнять свою часть сделки? Так вот, вы сделаете кое-что. Просто ради доказательства — это такая дружеская проверка, Рик. Возьмите одно из блюдец и налейте в него «доль».

Я с интересом ждал. Он не двигался.

— Давай, паренек. Вы преследовали меня, и записывали, и шантажировали, и вводили в искушение, покупали и продавали меня — все для блага вашей захудалой литературы. И теперь остановитесь? Подумайте — чего стоит одна глава об акценте Уилфа!

Он с трудом переводил дыхание.

— Угу.

— Что «угу»?

— О вашем деревенском английском акценте.

— Фу, как грубо, Рик. Я же сказал — акцент я всегда употреблял по обстоятельствам.

— Нет, сэр, я имею в виду не сейчас, а тогда.

— Много вы знаете об этом!

— У меня есть слух. То есть был слух. Поэтому я занимался

фонетикой. И здорово в ней разбирался. И сейчас разбираюсь. Но тут у меня нет будущего... Ну, ладно. Профессор велел мне получить образец вашей речи для архива. Я тогда готовился к экзаменам и не мог попасть туда. Это сделал мой приятель. Он поставил магнитофон под креслом для приглашенных гостей в преподавательском клубе. Потом, когда я слушал вас, я просто не мог поверить. Так произносить дифтонги! А тона — совсем как у китайца.

— Меня слушали в полном молчании и с глубочайшим почтением!

— Нет, сэр. Слушали не что вы говорили, а как. «Что» уже во вторую очередь.

Он встал, ухватился за край стола и подался вперед.

— Эту запись прокручивали на вечеринках как анекдот, Уилф. Например, когда обмывали мою диссертацию. Нет, сэр, не я это придумал, не вините меня. Я просто вам рассказываю, сэр. Вообще-то на этой вечеринке я впервые услышал вашу речь, до того я просто вникал в фонемы. И фонемы мне основательно осточертели.

Я обнаружил, что и сам встал. И тяжело опустился в кресло.

— Это чудовищно. Просто чудовищно!

— Нет, сэр. Не считая звуков, там не было бы ничего смешного, если бы не одно совпадение. Вы там рассуждали об английской социальной системе — сказали, что британцы — это греки, а американцы — римляне. Говорили о «спартанской неподкупности» чиновничества. Приводили примеры его безраздельной преданности долгу, вроде того, как крайне консервативные чиновники провели для социалистов национализацию промышленности. Просто, когда проигрывали эту пленку, мы были ох как наслышаны о Филби и его приятелях. Смешно? Люди там за животики держались. И им было стыдно. Ваши замечательные государственные служащие не только вас окунули в дерьмо. Они окунули нас! Вас и ваш деревенский акцент!

К своему удивлению, я обнаружил, что тоже вцепился в край стола, как и он.

— Это было крайне неразумно с вашей стороны, Рик, если вы простите мой деревенский стиль изложения. Вы себя раскрыли, правда? Теперь мы все знаем?

Огонь в нем начал утихать. Он сник, возвращаясь в состояние, как я теперь понимал, не рассеянности, непонимания или раболепия, а какой-то непостижимости. Мы оба изучали друг друга.

— Ты высказался, сынок. Вино в блюде, будьте любезны.

Он еще чего-то ожидал. «Рик — ханурик».

— Не выпьешь вино из блюдца — не будет авторизованной биографии. Не будет писем от Макнуса, Чарли и Памелы Сноу, целого шкафа раритетов! Черновых вариантов. Оригинала рукописи «Все мы как бараны», который резко отличается от опубликованного текста. Фотографий, дневников, восходящих к школьным дням Уилфа... Не будет счастливейших дней твоей жизни, Таккер, когда ты сможешь запустить когти в... удовлетворенного Холидея. Ты сможешь подняться с колен. Войти в золотые ворота. Приобрести скромную славу.

— Стипендия...

— Чушь собачья.

Он обреченно протянул руку, с трудом налил «доль» в маленькое блюдце.

— Поставь на пол.

Впервые в жизни я увидел, как глаза действительно наливаются кровью. Кровеносные сосуды в уголках глаз стремительно расширились. Мне даже показалось, что они вот-вот лопнут. Потом он разразился каким-то сдавленным смехом, и я вместе с ним. Я рывкнул «гав-гав», он мне ответил тем же, мы захохотали, потом он поставил блюдце на пол, стал на колени и тут только сообразил, что от него требуется. Я услышал, как он лакает.

— Хорошая собачка, Рик, хорошая собачка!

Он вскочил на ноги и запустил в меня блюдцем, но я знал, что Господин не пострадает, и блюдце просвистело мимо моего уха. Оно зацепило гардину и упало на пол. Ковер был достаточно толст, и оно не разбилось — только крутилось по спирали, пока не остановилось дном кверху. Таккер обессиленно упал на стул. Он весь сжался, уменьшился настолько, что одежда на нем походила на парус, надуваемый ветром. Лицо он закрыл руками. Только затем я заметил, что его бьет крупная дрожь, словно в глубоком шоке. Собачка. Он сидел, подавшись вперед, обхватив лицо ладонями и упираясь локтями в полированный стол.

Я вернулся к нетерпимости и дерзко спросил у нее:

«А это как?»

Между пальцами у него текли слезы. Отдельные капли падали на полированный стол, но другие сотрясениями тела Рика выбрасывались в воздух и каким-то образом попадали в меня. Рыдания перешли в вой. Я никогда не слышал звуков, столь низких и столь трудно извлекаемых из груди, словно кости трескались. Последние остатки воли покинули его тело, он ссутулился, локти соскользнули со стола, руки упали по швам, открывая впалые щеки.

— Вы меня слышите?

Теперь и кисти съехали со стола. Руки у него, по всей видимости, доставали до пола, как у обезьяны.

— Я сказал: «Вы меня слышите?»

— Слышу.

— Хорошо. Теперь перейдем к делу.

Он собрался с силами и сидел сгорбившись. На меня он не смотрел. Зато я смотрел на него. По лицу у него бежали ручьи, глаза покраснели, но уже не были навывкате. Скорее они напоминали что-то вязкое и липкое.

— Это обязательно? Мне надо поспать или что-то вроде.

— Выпейте еще.

Он вздрогнул:

— Нет, нет!

Я снова посмотрел на свою бумагу:

— Я назначу вас своим литературным душеприказчиком, вероятно, совместно с моим агентом и Лиз или Эмми — скорее всего Эмми. Я уполномочу вас написать мою биографию при моей жизни, но с ограничениями, которые я еще не оговорил.

Рик зевнул. Взаправду!

— Слушай внимательно, сынок!

— Извините.

— После того как я проконсультируюсь с юристами относительно точной формы документа, который вы подпишете, я снова свяжусь с вами и назначу место встречи. Все понятно?

Он кивнул.

— Тогда пока все. Привет Хелен, если когда-нибудь увидите ее. Передайте наилучшие пожелания Холидею, как от банкира банкиру. Надо полагать, у него есть банк.

— И не один.

— Пусть продолжает труды на благо. Он умный, ваш мистер Холидей. Или я уже это говорил?

— Да, сэр.

— Хорошая память, Рик. Полагаю, на этом мы покончим. Может, у вас есть какие-то пожелания?

— Да, сэр... Уилф. Сколько примерно это займет? Время...

— ...деньги. Не мои. Однако в вашем случае, я полагаю... Ладно, может быть, неделя-другая или месяц. Не больше. Вам-то какая разница? У вас нет постоянной работы, экс-профессор.

— Вы упоминали какие-то ограничения, Уилф.

— Ах да. Они относятся только к самой биографии. Не о чем беспокоиться.

Его взгляд был жалок и подозрителен.

— Я бы хотел знать, Уилф, если для вас это несущественно.

— Разумно, Рик. Думаю, вам интересно будет о них узнать, прежде чем вы подпишете. Назову главное условие, чтобы вы его обдумали. Я расскажу вам все о своей жизни, ничего не скрывая, и вы можете писать, что сочтете нужным. Но при этом обязательно дадите точный отчет о том, как подсунули Мэри-Лу мне, и о том, как подложили ее под Холидея и он принял ваше предложение. Так что биография будет написана дуэтом, Рик. Мы покажем миру, кто мы такие — бумажные людишки, допустим. Устраивает вас такое название? Подумайте, Рик, — все те, у кого, подобно вам, есть вши в волосах, все, за кем следили, кого преследовали, о ком лгали, все, кого выставляли на потребу публики, — мы будем отомщены, Рик. И я буду отомщен за всех них, ха и так далее. В этой самой комнате, сынок, — Мэри-Лу и я, а вы пошли спать, соблазни старого пердуна, «Рик Таккер, который, я уверен, доставит вам удовольствие», разве вы в этом не участвовали, вы, готовый лизать сапоги старому поэту лишь ради того, чтобы хвастаться знакомством с ним? Это сделка, сын мой. Меня в обмен на вас. Моя жизнь за вашу. Не говорите, что не станете этого делать. Вам придется это делать, иначе вам ничего не останется, как облизывать пустую тарелку, подобно вот этому блюдцу, летающему блюдцу, которое вы, Господи прости, даже толком бросить не умеете. Теперь вы знаете. Проваливайте отсюда и являйтесь, когда я вас вызову. Я свистну.

Мы снова замолчали. Я успел подумать, что будь на месте Рика настоящий мужчина таких размеров, он схватил бы меня в охапку и выкинул с балкона. Но Рик был бумажным человечком. В нем не было стержня. Я находился в полной безопасности. В нем нет силы, нет огня, нет тепла. В крайнем случае он был способен на самоубийство, да и в этом я сильно сомневался. Самоубийство — это болезнь, а Рик был совершенно здоров. Хотя нет, был и у него пунктик. Марракеш.

Но Рик встал. Я увидел, как он снова надувается. Неужели он способен на то, что Джонни называет «жестокостью», и может причинить мне вред? К своему удивлению, я обнаружил, что мне абсолютно все равно. Я пристально смотрел на него, как мне подумалось, в последний раз. Я следил за ним, как человек за опасным зверем. Наконец он опустил взгляд и направился к двери. Дойдя до нее, он не сразу вышел, как я надеялся, а вдруг повернулся, весь красный, со сжатыми кулаками, и рявкнул:

— Вы распоследняя сволочь, мать вашу так!

После чего ушел.

Ну, ну, подумал я. Бывают моменты, когда домашние животные просто поражают. Иногда они ведут себя почти как люди. Можно поклясться, они понимают, о чем вы говорите. Бедный Фидо! Конечно, они никогда не укусят. Они только делают вид, что рычат, и хватают хозяина за руку. Опять-таки с ними не одиноко.

Я откинулся в кресле и осмотрел гостиную, в которой мы провели дуэль бумажными копьями или, если по-современному, шариковыми ручками. Блюдце так и лежало на ковре. Я не стал его поднимать, испытывая ощущение, что это уже и не блюдце. Теперь оно принадлежало к числу предметов, которые приобрели «мана» — сверхъестественную силу. Возможно, оно действительно было летающим и явилось из космоса. Ну и черт с ним. А капли воды на столе? Одни размазались, другие подсыхали, оставляя тонкие ободки соли. У колдунов такие капли, наверное, высоко ценятся. Девственные слезы? Если найти слезы взрослого мужчины, сын мой, и собрать их в полнолуние, то это будет замечательное лекарство от скуки, запора и мировой грусти; и это будет страшным ударом по старой нетерпимости, которая получает по заднице от собственного оружия.

Я налил себе «доля». Посмотрел на вино, и мне вдруг расхотелось его пить, что было совершенно абсурдно. В момент его ухода я снова ощутил в себе стальную струну, и теперь она не просто сдавливала, а прямо-таки врезалась мне в грудь. Я забыл о Рике и сосредоточился на струне, которая каким-то волшебством перестала быть длинной и узенькой и превратилась в широченную ленту, затем в пояс. Я ощутил, что она сдавливает мне все тело, даже голову, бедную мою голову. А потом я задрожал, закричал и судорожно схватился за ширинку, словно маленький мальчик.

## Глава XIII

Этот отрезок никак не вяжется. Я просто не помню, что происходило после нашей второй встречи в Вайсвальде. Струна натянулась слишком уж плотно. Я вспоминаю только отдельные сцены, словно части фильма с большущими промежутками между ними. Одна такая сцена в Цюрихе, где я нашел адвоката, хотя не помню как. Это оказалась женщина, и когда она ознакомилась с содержанием соглашения, то уставилась на меня так, словно хочет меня купить, а не оказать мне услугу. Она была маленькая, вся в морщинах, из тех, в ком поразительное уродство сочетается с поразительной женственностью. То есть она не была *jolie laide*<sup>[42]</sup>. Тогда речь бы пошла о сексуальных похождениях, чего у нас и близко не было. Она была каким-то образом защищена — тем, что добивалась успеха без таких малопривлекательных качеств, как потребность отомстить, опередить других, обороняться от людей или быть к ним безразличной. Помню, я подумал, как это замечательно, что я больше не вынашиваю планов красиво написать очередную книгу Уилфрида Баркли, потому что она твердо стояла на земле и была бесполезна для романиста — он не в состоянии описывать таких людей, а сами они не дают себе труда описывать себя, существуя скорее в молчании, чем в речи. Не помню, как она сумела доказать мне, что документ вообще не нужен и следует просто приостановить это дело, потому что я вовсе не собирался встречаться с Риком, пока туго натянутая струна хоть чуть-чуть не ослабнет. При расставании я остро ей завидовал. То, что я мог предоставить, этой женщине вовсе не требовалось!

Другой обрывок, другой клип, связанный с Цюрихом, — это кладбище. На одном камне была выбита только дата рождения и ничего более. Позднее я вспомнил: это как раз была дата моего рождения.

Никакого сомнения быть не могло. Я сидел в одном из отделанных пластиком отелей, каких полно в больших городах, и перед моим мысленным взором предстал этот камень, дату на котором я читал цифра за цифрой. Для остального еще имелось много места. Итак, я опять выбрался в прокатной машине на трассу. Пришлось заехать очень высоко, чтобы пересечь горы, и это было — полагаю — потому, что за мной неотступно следовал катафалк. Чтобы оторваться от него, пришлось свернуть на проселочную дорогу, из тех, которыми пользуются только лесники. Тут в памяти провал, потому что я помню, что очутился на итальянской стороне Альп выше верхнего края леса. Одному Богу известно, где я побывал. Тут я

остановился, потому что обнаружил, что земля движется. Собственно, это была не земля, а жидкая грязь. Дорога была покрыта гравием, по обе стороны зияли ужасные пропасти, а под колесами то и дело выступали крупные камни, от которых прокатной машине не делалось лучше. Вот я и сидел за рулем и смотрел, как из грязи торчат старые корни и обломки стволов либо веток и как все это ползет. Потом я увидел ползущим вниз огромный вал грязи; выглядело так, будто кожа лопается и заменяется новой, а торчащие палки и все прочее корчатся от боли или вызывают о помощи, которой все не было, ништяк. Я не сообразил, что это сель, грязевая лавина. Он обогнул мою машину, но завалил дорогу так, что и танк не прошел бы. Пришлось выбраться наружу, ползти и карабкаться.

Я нашел итальянских рабочих, которые ремонтировали дорогу внизу, и когда я объяснил, что машина осталась там, наверху, они долго смеялись. Очень долго смеялись надо мной.

Тут пленка отматывается назад, в громадный мотель, и я постоянно вижу один и тот же сон. Наверное, я оставался там многие недели, ведь оно такое безличное. Это место то есть. Бетонное сооружение торчало из бетонной пустыни. Мне снилось, что я нахожусь в Марракеше, где сроду не был, и убегая от Рика, который гонится за мной на катафалке. Единственный выход для меня — уйти в Сахару, где нет дорог. Остальную часть сна я проводил в песках. С каждым разом вводный сюжет сна укорачивался, ужимался, становился просто подразумеваемым, пока сон не стал начинаться сразу с пустыни. Она была повсюду, и оттого я испытывал неудовольствие. Похоже, я всегда был голым, потому что никакая одежда перед моим мысленным взором не предстает. Здесь было какое-то принуждение. Не обычное, неопишное, неведь откуда берущееся, бесцельное принуждение, как в кошмарах. Нет, оно было логично, поскольку вытекало из неопровержимого факта. Знаете извивающиеся дощатые настилы на пляжах, позволяющие пройти к морю, не поджарив пятки на раскаленном песке? Так вот, здесь никаких настилов не было, был лишь песок — очень горячий, ох какой горячий, словно в печи. Над этой пустыней не было неба, а если и было, я его не замечал, потому что все мое внимание было поглощено песками. Видите логику принуждения? Господи, как мне приходилось двигаться, плясать, бегать, прыгать вверх-вниз! В воздухе, если им было то, что находилось над песком, я чувствовал себя лучше, поэтому максимум, что я мог сделать, — это постоянно задирать то одну, то другую ногу, ибо даже во сне я не осмеливался пренебречь законом тяготения. Однако, напрягая во сне весь свой мощный интеллект, я додумался до компромисса, который, имея я достаточно времени, мог бы



даже стать решением проблемы. Я нагнулся и выкопал вокруг пылающей ноги ямку в песке. Мне казалось логичным, что в конечном счете я прокопаю дыру такую глубокую и черную, что окажусь на противоположном конце земного шара, но в любом случае это не будет раскаленный песок. Сделав достаточно ямок, я имел бы куда ставить ноги и не обжигаться; но на этом месте я просыпался. Иногда, роясь в песке, я замечал, что пишу на непонятном языке или рисую картинки, и тем самым я бы обеспечил место для обеих ног и проснулся бы. Но хуже всего мне приходилось, когда я глотал много пилюль, ибо тогда мне ничего не снилось, ради чего я это и проделывал, зато после пробуждения те же видения преследовали меня наяву, например, в баре или на шоссе, где, как бы я ни старался, я уже не мог выкопать руками ямку, а только привлек бы к себе излишнее внимание. Приходилось убегать. Но видения меня не оставляли.

Телепатия существует. Должна существовать, иначе не объяснишь, почему следующий отрывок относится к месту, где мы с Лиз проводили медовый месяц за год до свадьбы. После развода я избегал этого места. Я не сентиментален, и в любом случае что толку возвращаться к месту, где все это началось? Но почему-то я там очутился. Меня не сразу, но признали — система бронирования мест в общем и целом работает, — и по какому-то волшебству кто-то всунул золотую кредитную карточку в мой паспорт — единственное, что я имел при себе, кроме прокатной машины. Итак, я оказался в отеле, а затем прошел в роскошное заведение напротив и приказал переправлять поступавшие мешки корреспонденции туда. Я не хотел рисковать.

Забыл сказать, что этот клип относится к Риму — нет, не к церковному Риму, а к Риму гостиничному. Вы выходите на Пьяцца Как-там-ее с фонтаном, поднимаетесь по лестнице и наверху видите отель. Церковь там тоже есть, но витражи в ней паршивые, а отель гораздо, гораздо интереснее. Там очень тонко чувствующие люди. Они приняли мою прокатную машину и дали номер, какой я хотел — с балконом, потому что когда вас наедине с собой преследуют нежелательные мысли, всегда можно осматривать окрестности и возмущаться, как нынче модно, памятником Виктору-Эммануилу, хотя он гораздо лучше всей прочей пухлой римской архитектуры — как видите, я начисто лишен вкуса. В любом случае пустыня по-прежнему не давала мне наслаждаться видами. И вот произошла удивительная вещь, того же порядка, что с отцом Пио, — здесь сразу вспоминается Уилфрид Баркли, банковский клерк. Дело в том, что даже когда я был бодр и трезв, ступни у меня начинали болеть, и кисти рук

тоже. Это заставляло меня во сне менять руки, которыми я писал или рисовал, но все равно болели обе. Поэтому я проводил много времени в ванной, наполнив ванну холодной водой и держа в ней ноги, а руки попеременно подставляя под холодную струю. До некоторой степени это помогало. Короче говоря, должен обратить ваше внимание на то, что Уилф вляпался в очередной фарс, к коим имел такую склонность, — у него появились стигматы, как у святого Франциска, только наоборот, потому что, будучи редкостной сволочью, по выражению моего лучшего друга, он получил их в наказание за грехи, а не как награду за благочестие.

Я тут пытаюсь шутить, чего не следовало бы делать, но можете мне поверить, ничего смешного здесь не было. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Помню один вечер... нет. Это уже отдельный клип.

Однажды вечером, когда боль была терпимой и я мог видеть небо, я сидел на балконе и пытался обдумать происходящее. Утром я обнаружил, что брожу по Риму, потому что хотел посмотреть в «Кто есть кто в Америке» сведения о Холидее. Наконец я снова очутился у подножия лестницы. Она кишела прогуливающими уроки школьниками, торговцами наркотиками, хиппи, проститутками, панками, гомиками, лесбиянками и студентами, как обычно, и все они держали гитары, отвратительно играли на них, пытались продавать вырезанные из жести и разбросанные повсюду сувениры в виде цепочек, колец на палец или в нос или сережек, лестница была усеяна искусственными цветами и так далее. Протолкаться через эту толпу стоило немалого труда, но никто ко мне не приставал и не пытался всучить разный мусор — видимо, я не производил впечатления платежеспособного. Но, присматриваясь к ним, я понял, какой у меня должен быть ужасный вид, поэтому я поднялся на свой балкон, обхватил голову руками и попытался думать. Я решил перечитать дневник, чтобы разобраться что к чему. Тут я, конечно, вспомнил, что дневника-то нет; передо мной предстал кадр (клип), как я сижу здесь, а в Швейцарии и Италии я вел записи в телефонных книгах, на обоях, на стеклах машин или на туалетной бумаге, а потом отправлялся дальше без всякой цели. А еще я вспомнил, как утром смотрел «Кто есть кто в Америке», — как же я сразу не понял зловещего предзнаменования? Ведь страница, на которой полагалось быть Холидею, оказалась пустой — голой, голой, голой, просто листом белой бумаги! Тут я вскочил на ноги, как бы они ни болели, и уставился на ту церковь с дерьмовыми витражами — Господи, он там и стоял, на крыше. Да, стоял, и я стремглав бросился в комнату, сел на кровать, весь пылающий, и принялся дрожать мелкой дрожью. Я понял, что спать нельзя — если я усну, он спустится с церковного шпиля и заберет

меня. И конечно, снотворное и выпивка исключены — то и другое сделает меня беспомощным, и я не смогу сопротивляться, если он все же явится за мной. Это последнее соображение вообще спутало все на свете. Не знаю, сколько времени я так сидел и дрожал. Какая-то женщина зашла убрать постель, но я на ней сидел и она не была разобрана, поэтому горничная ушла; потом явился мужчина, но он был из отеля, а не с церковного шпилья, поэтому я не испугался и игнорировал его. На войне у меня был нарыв, ужасное последствие раны, и он нарывал и нарывал, пока не настало время — примерно полчаса — когда биение сердца так сильно прижимало гной к коже, что я от боли потерял сознание. Помню, я не мог поверить, что боль способна еще усилиться, но так было. Но напряжение нарастало, оно давило и давило. Думаю, я все же уснул или впал в состояние, которое нельзя назвать бодрствованием, или же просто сошел с ума.

Можете назвать это бредом.

Я стоял на крыше церкви, там, где раньше был Холидей. И смотрел на лестницу вниз. Все было залито солнцем — не тяжелым римским светом, а всепроникающим сиянием. Раньше я этого не замечал, но сейчас, глядя сверху, обнаружил, что лестница повторяет симметричный изгиб музыкального инструмента — гитары, скрипки, виолончели. Но эту гармоничную форму украшали и разбивали люди, цветы и сияние бриллиантов, разбросанных повсюду на ступеньках. Все люди были молоды и похожи на цветы. Оказалось, он все-таки стоит рядом со мной на крыше; мы вместе спустились и оказались среди молодежи, и бриллиантов, и охапок цветов, изливавших потоки света. Затем началась музыка. Они протягивали руки и двигались, и это движение было музыкой. Они не были ни мужчинами, ни женщинами, а тем и другим сразу, и это не имело ни малейшего значения. Важна была сама музыка. Мужское и женское начало для меня не имеет значения, сказал он, беря меня за руку и отводя в сторону. Узкие ступени вели вниз, к круглой двери. Мы вошли. За ней оказалось, по-моему, темное, недвижимое море, поскольку я мог говорить только метафорами. Пение я не могу описать словами.

Проснувшись, я не пел, а плакал; правильнее будет сказать — рыдал, и очень долго. Верите или нет, после пробуждения я был пьянее, чем когда уснул, а слезы текли так обильно, что я осмотрел кровать, решив, что описался, но этого не было. Подушка была вся в слезах, точно так, как пишут в женских романах. Как бы там ни было, нарыв прорвал, боль и напряжение исчезли, потому что я теперь знал, куда мне нужно, вернее, знал направление, к которому следует стать лицом и больше не бежать. Я мог спокойно идти, и последний отрезок путешествия сложится сам собой.

В дверь постучала женщина, принесла кофе с круассанами и бутылку вина. Когда она вошла, я смеялся, что удивило ее, но я не мог объяснить, чему смеюсь. Она бы все равно не поверила. Но невыносимая боль в руках и ногах действительно исчезла. То есть они еще болели, но, словно после мази, боль утихала. Не думаю, что существует научное объяснение, хотя, если вы ученый, может, вы и сумеете что-то придумать, но я не занимаюсь абстракциями вроде религии или науки, я описываю жизнь, как она есть, как говорят немцы, *Istigkeit* — естие, если можно так сказать. Описываю, что такое быть человеком, хотя, цитирую, простой человек, а с хитринкой, конец цитаты. Кроме того, боль в руках и ногах была какой-то странной, будто я ушиб целых четыре локтя.

Этот день я провел в халате и пижаме, затребовав то и другое, когда обнаружил, что в моем багаже ничего нет. Следующие несколько дней в отеле ушли на портных и им подобных. Я также начал разбирать мешки с почтой, и первое письмо, которое я вскрыл, оказалось от Лиз. Излагаю его содержание. Смысл сводился к тому, что Валет Бауэрс смылся. У меня вся злость давно прошла, думаю, и у тебя тоже. Почему бы тебе не вернуться? Прочтя это, я немедленно отправил телеграмму «да, но несколько дней буду приводить себя в порядок». Я сидел на краю ванны, ноги в воде, руки под краном, а портной сидел на унитазе, и мы беседовали о жизни и сопутствующих предметах. Прошло еще немало дней, пока я полностью примирился с жизнью. Не будешь ее принимать как есть — она тебя быстро свалит с ног. Вот я и проводил дни в беседах с портными, сапожниками, рубашечниками, шляпниками и ювелирами — людьми самых доброжелательных профессий. Я потребовал амбарную книгу для дневника, но когда попробовал заполнять ее той ясной прозой, какую читатели находят в моих книгах, в руке начиналась ужасная боль, и пришлось отказаться от этих попыток. Вот тогда все наконец начало сходиться. Я понял, что нетерпимость не одолела меня и что остается книга, которую я или кто-то другой должен написать — не дневник, а нечто более существенное.

Как все это время говорил гипнотизер, я идеально поддаюсь внушению. Я увидел, как внушение изменило мои книги, особенно «Хищных птиц» и «Лошадей весной». Я много плакал и устыдился, что эти книги не вполне приспособлены к юдоли слез. Я, конечно, еще пил, потому что считал мгновенное расставание с бутылкой чересчур опасным, но теперь более или менее строго придерживался нормы — бутылка в день, не больше.

Настало время, когда я начал подумывать о моем песике. Нехорошо

будет сразу привести его в дом, пока я не выясню, как на это посмотрят Лиз и Эмми. Лучше встречусь с ним в самом роскошном из моих клубов — «Ахинеуме». Я подумал, что о Рике стоит поговорить с Лиз. Я уже представлял, как мы сидим по разные стороны кухонного стола, за которым у нас бывали такие прекрасные беседы и такие яростные ссоры.

Странное было это время в отеле! Я сидел на балконе, глядя на этот город цвета коровьего навоза, ровесник вечности, и пытаюсь понять, почему мой бред был больше, чем бредом, и больше, чем явью. Потом обдумывал новую книгу, выстраивая сюжет из мешанины фактов. Учítывая, кому она предназначалась, я мечтал, как перестанут болеть мои несчастные ноги и руки, когда я закончу писать. Потом я возвращался в ванную с бутылкой на подносе. А там сидел на крышке унитаза сапожник со стаканом в руке и рассказывал удивительные истории о своих клиентах, а я откладывал эту информацию в ящички памяти, совершенно забывая, что она мне не потребуется. То и дело я возвращался в мыслях к собственному бреду. Я немного продвинулся и пытался объяснять его в категориях, скажем, научных, психиатрических, религиозных и в категориях естия (последнее от рубашечника), совершенно взаимоисключающих — так по крайней мере мне казалось. Больше всего я размышлял о естии. Почему такой упор на естие? — спросите вы. Вы что, приперты к стенке? — спросите вы. Разве — цитирую — реальности — конец цитаты — вам мало? Так вот, ответ лежит в глубинах языка. Вовсе не философское понятие реальности, а — цитирую — естие — конец цитаты — именно то слово из темных слоев лексики, которое обозначает недобровольное сознание. Я сам его придумал, потому что бред постиг не философа, а меня. Религия, наука, психиатрия, философия — все они охватываются этим словом!

Eh voila! Non, voici<sup>[43]</sup>.

## Глава XIV

Наконец я полностью подготовился, но еще не садился в самолет. Дело не в недостатке подвижности. Я мог передвигаться, хотя и по-старчески. То есть действительно как старец, а не просто человек под семьдесят. Дело было в страхе. Я хотел — цитирую — «домой» — конец цитаты — ох, как я хотел домой! Но боялся Англии и весны. Боялся, что начну плакать, как девчонка, и что это войдет в привычку. Это было слабостью, и я решил напоследок избавиться от мешков с почтой, что заняло бы несколько дней. Но после ознакомления с парочкой первых попавшихся писем мне показалось, что это слишком много. Поэтому остальную почту сожгли в мусорной печи под моим наблюдением, и я почувствовал огромное облегчение. Кого бы я ни спросил из персонала отеля, считают ли они, что полный разрыв с выпивкой способен помочь мне, все отвечали, что да, поможет. Не знаю, что они имели в виду под помощью, видимо, просто полагали, что это будет хорошо. Но если уж на то пошло, все считают, что не пить хорошо, кроме тех, кто не может бросить и придумывает всякие объяснения для этого. В моем случае я как раз могу бросить, если сильно захочу, хотя бывают рецидивы через разные промежутки времени, срывы, так что великий замысел завязать раз и навсегда не осуществляется на сто процентов. Но замысел-то хорош, и я его придерживаюсь с переменным успехом уже больше четверти века.

Однако — на этот раз! Да, я совершенно не пил, и жизнь сделалась пресной. Я стал трезв и счастлив, а счастье оказалось спустя некоторое время такой скукой, но нельзя жаловаться, сидя на одном хлебе — надо есть его, рассчитывая, что потом и масло появится. У меня ведь столько времени! Оно тянулось до самой ночи, и день становился все длиннее и длиннее, потому что я часами не мог заснуть, а потом просыпался рано. Сны больше не снились.

Ничего не могу сказать о возвращении, кроме того, что, приземлившись в Хитроу, я побоялся сразу ехать домой и решил для начала посетить свои клубы. В «Атенеум» я зашел и тут же выскочил. Он мне чем-то напомнил ту церковь на острове, хотя, конечно, в клубе множество окон. Прямо оттуда я направился в «Ахинеум», где оказалось совсем неплохо. Ясное дело, первым, на кого я там натолкнулся, был Джонни. Он выглядел очень интеллигентно с нашлепкой на лысине. Он закричал:

— Уилф! Вот воистину свет в окошке!

— Ха и так далее. Господи, ты выглядишь миллионером.

— А ты как? Можно?

Он пощупал лацкан моего пиджака.

— О Боже. Можно в обморок упасть. Сколько?

— Не знаю. Пусты, Джонни. Барменша смотрит.

— Да, я выпью, Уилф. Да, знаю, по уставу мы не должны угощать друг друга. Два кампари, пожалуйста.

— Имбирное пиво с лимоном, пожалуйста.

— Уилф! С тобой все в порядке?

— Просто временное воздержание. Джонни, что стало с тобой? Неужели тот твой дядя помер?

— Уилф, ты в жизни не поверишь. Я фигура общенационального значения!

— Ври побольше.

— Да, да, да! По морде получишь!

— Что же на сей раз?

— Ладно. Помнишь моего приятеля, который работает на Тетушку?

— Которую?

— Ту, которая самая главная, Хамли!

— Ха.

— Ну ладно. Я думал, мы расстались навсегда, но он, видимо, объездил полмира...

— Та же школа.

— Может, это помогло. Как я уже говорил, меня пробовали на том, на сем, в основном не шибко проходном, а потом мне просто повезло — я попал в викторину! Угодил в десятку, дорогуша! Как только британский народ почувствовал ностальгию по нам, добрым старым джентльменам, я тут как тут, в полной боевой — клянусь, я куда популярнее тебя, и никогда не поверишь, сколько мне предлагали за рекламу шерри в передаче! Но тут нужна особая ловкость.

— Как называется передача?

Впервые я видел, как Джонни запнулся. Он даже слегка покраснел, но не отвел взгляда и хихикнул:

— «Замочная скважина».

Я тоже засмеялся, и некоторое время мы не могли остановиться. Барменша задумчиво смотрела на нас, будто гадала, насколько сальным был анекдот. Наконец я оттолкнул его и вытер слезы.

— Неудивительно, что ты будто сошел с рекламы собачьего корма. Это ты-то, Джонни. Ты, который считал, что сказать «плохо» вместо «худо» —

величайший из смертных грехов!

— Как говаривал Уилфрид Баркли, денежки — вещь хорошая, конец цитаты.

— Как «Пылающая Сапфо»?

— Полный провал.

— Не может быть!

Джонни склонился к моему уху.

— Обещай, что никому не скажешь.

— Конечно, не скажу.

— Эту сучку распродали дешевле себестоимости еще до выхода тиража. О, в нечестивой спешке столь проворны...

— Да, вот уж не повезло.

— Кстати, о собаках...

— При чем тут собаки?

— Собачий корм!

— Ах да.

— Ты себе нашел?

— Возьми меня с собой, Джонни.

— Да, так о чем мы говорили в последний раз, когда встречались в том абсолютно палеолитическом отеле?

— Напомни.

— Я говорил, что ты должен завести себе близкое существо, для начала собаку.

— Ага.

— Так ты нашел? Ты ведь явно изменился. Мне любопытно. Давай, Уилф!

— Ага.

— Не играй в тайны и не прячься за бородой!

— Гав-гав.

— Уилфрид Баркли гуляет с пуделем!

— Да. Нашел.

Джонни приблизился ко мне, исполненный любопытства. Новость же, и какая!

— Ну и?..

— Я ее убил.

Джонни отхлебнул кампари и задумался. Он выглянул в окно, за которым цветник светился нарциссами и чем-то фиолетовым — фиалками скорее всего, душистыми фиалками. Он патетически взглянул на меня:

— Это плохо. Это очень, очень, очень плохо.



Где-то кто-то ударил в гонг, призывая к обеду.

— Ладно, — сказал я, — пойду к своей миске. Гав-гав.

Джонни не ответил.

Я машинально уселся на место, которое вроде бы считалось моим. Оно пустовало — место под статуей Психеи, где я когда-то сидел со своим литагентом, потом с издателем, а один раз с Валетом Бауэрсом. Психея никуда не делась. Она у нас была единственным ценным objet<sup>[44]</sup> — ранневикторианского периода, из белого мрамора на малахитовом постаменте, действительно неплохая вещь. Ей, конечно, положено смотреть на Амура и держать лампу так, чтобы видеть его лицо, но мне всегда казалось, что она уставилась в меню или карту вин и пытается сообразить, что к чему заказывать. Я подумал, что именно здесь следует встретиться с Риком. На сей раз Психея, похоже, нашептывала мне в ухо, что графинчик фирменного кларета мне не повредит, и мне пришлось выдержать борьбу с ней. Однако добродетель восторжествовала.

Брать машину напрокат настолько вошло в привычку, что я это сделал совершенно не думая. Затем я позвонил домой и попал на Эмми, которая отвечала точно так же, как в тот раз, когда я забыл ее день рождения. Нет, с Лиз говорить нельзя. Она лежит, и ее не нужно беспокоить.

Ладно, подумал я, нельзя ждать возвращения бывшего мужа и не испытывать при этом некоторой тревоги. А сам-то я на что только не пускался, чтобы оттянуть встречу с ней! Будь мужчиной, сынок!

Итак, я катил по новой трассе, совершенно не узнавая ландшафта. Насколько я мог видеть дальше бетонного покрытия, Англия не порождала ничего, кроме нарциссов, они были повсюду. Какой веселой и понятливой собакой я был, гав-гав, едва касаясь руля на отличной английской дороге. Ноги у меня больше не болели, и я думал, что так и должно быть — я ведь еду домой!

Эмми встретила меня в дверях. С тех пор как я ее видел, она сделалась еще некрасивее и угрюмее. Я поцеловал ее в холодную щеку и заметил, что она плакала.

— Где она?

— В длинной комнате.

Она впустила меня с видом уверенности в никчемности и неудаче затеваемого дела.

Длинная комната когда-то была образована соединением двух соседних в одну. Лиз стояла в самом дальнем и темном углу, куда, видимо, забежала, услышав шум подъезжающей машины. Лицо она закрывала руками! Я подошел ближе, и она резко бросила:

— Нет!

Я опешил.

— Я только хотел показать тебе новый костюм. Сент-Джон Джон чуть не упал в обморок.

— Ты такой же, каким был. Незыблемый. Так нечестно.

— А что ты хотела получить назад, черт побери? Корзину для бумаг?

— Получить назад. Ладно. Смотри.

Она опустила руки и сделала шаг вперед. Та Лиз ушла. Не будь привычного резкого тона, я бы не узнал ее. Передо мной стояла исхудавшая старая карга. Некогда прекрасные волосы свисали безжизненными лохмами. Она столько хмурилась, что даже теперь, когда надобность в этом миновала, лоб ее был изборожден глубокими морщинами. Щеки так впали, будто она унесла с собой тени из темного угла. Но страшнее всего были глаза — потемневшие и запавшие настолько, что ее голова напоминала голый череп, зловеще разрисованный помадой. Она прикрыла рукой впадину правой щеки, будто закрываясь от самого худшего, и я заметил, что даже теперь лак для ногтей она подбирала в тон ярко-алой помаде.

— Ради Бога, Уилф, ты-то чего ожидал? Мэри-Лу, что ли?

— Он тогда клеился к тебе.

— Думаю, в том-то и ужас. Он настолько принимал тебя всерьез. Мне пришлось смеяться.

— Да. Да. Надо полагать.

— Ты знал, ах да, ты не знал — он и Хэмф, они оба приставали к Эмми. Хэмф — потому что он такой, а Рик из-за тебя. Господи, ни за что не поверила бы, что в жизни возможно такое. Я попыталась выставить Хэмфа, а он ушел не дальше гостевой комнаты. Знал, что напал на золотую жилу. Комната свободна, если тебе нужно.

— Он действительно ушел?

— Смылся. Ты бы никогда не поверил. — Она показала на свое тело, сложив руки лодочкой. — Смылся, когда это вышло наружу. Бросил все, даже свое знаменитое ружье и охотничьи книги. Когда придет твой черед, Уилф, не проси врачей сказать правду. Они именно это делают.

— Я не знал.

— Ты совсем не постарел. Так же пил, волочился за бабами, жил на всю катушку...

— Только пил. И то...

— Брось. Конечно, начнешь снова. Дело в том, что мне кто-то нужен. Вот оно что, и я не могу больше держать Эмми на привязи. Ты знаешь? Ладно. Не знаешь.

— Не совсем.

— Тогда мне и пришла эта замечательная идея. Я вцепилась в Томаса и выдавила из него твой адрес до востребования. Я решила вернуть Уилфа домой, если это в принципе возможно. Он понятия не имеет, как заботиться о других, но чересчур слаб, чтобы сбежать. Это шантаж, если хочешь.

— С этого места мы можем двигаться только назад. Более или менее. Скорее менее.

— Именно так.

Мы замолчали. Слышно было только пение птиц в саду да тихое ржание в дальнем конце конюшни. Элизабет заговорила своим естественным, для посторонних, тоном, нормальным до абсурда:

— Почему бы тебе не сесть?

— Да. Конечно. Если можно.

И вот мы сидим, опустив ноги на теплый пол, по разные стороны пустого камина.

— Извини, Уилф, я не хотела, чтобы это было... Не знаю, что я хотела.

— Когда тебе станет лучше...

— Как ты говоришь, ха и так далее. Уилфрид Баркли, великий специалист.

— Должно же быть что-то...

— В гостевой комнате есть все, что тебе нужно. И ванная там. Я пользуюсь задней ванной, все мои вещи там. Миссис Уилсон будет готовить. Или можешь обедать где-нибудь. Во всех пабах теперь кормят прилично. Я готовить не могу.

— Надо тебя подкормить.

— Я не ем.

— Ты должна.

— Ты что, ничего не знаешь? Ничего не видел?

— Война...

— Господи, какая несправедливость... Ты пьянствовал, бегал по бабам, врал, хвастался, выставлял себя... я тащила тебя пьяного в кровать, укладывала, укрывала... и получила рак, будто это я пропила всю свою жизнь!

Тут нечего было сказать. В комнату вползли сумеречные тени. На меня смотрел расплывающийся бурый череп с черными глазницами.

— Ты всегда хорошо молчал, правда, Уилф?

— Просто ты не давала мне возможности раскрыть рот.

— Замечательно! Восстанавливает мою уверенность в том, что ты мерзавец. Ладно. Скоро некому будет тебя перебивать. Ты доволен?

Я ничего не говорил, ничего не делал. Как часто бывает, сказать правду было невозможно: я действительно был доволен — с того дня, когда прекратился бред. И этого ничто не могло изменить, даже несчастье Лиз. Сказать правду было стыдно, и слишком уж было поздно учиться сопереживать или искать другую собаку.

Молчание слишком затянулось. Я нарушил его:

— Я остаюсь, вот и все.

— Ты, наверно, ударился в религию. Навещать болящих. Не можешь не навестить, как же иначе? А то что скажут биографы? Умиравшая женщина, которая родила тебе ребенка. Тебе надо покрутиться при этом, Уилф, и проникнуться. Кусок жизни. Писателю без этого не обойтись.

— Ладно.

— Роберт Фаркуарсон из «Биде ньюс» знает. И Рик Таккер тоже.

— Гав-гав.

— Именно это он произносил в последний свой приезд. Я решила, это какой-то модный прикол, но я в последнее время не очень au fait<sup>[45]</sup>, даже телевизор не смотрю.

Она потянулась за сигаретой в пачке на столике, закурила и тут же зашлась кашлем. Лиз выбросила сигарету в камин, но, перестав кашлять, сразу же схватила другую.

— Ты по-прежнему не куришь, Уилф? Вот мужчины! Даже Хэмф боялся этой, этой...

— Болезни. Хворости.

— ...этого рака.

— Послушай, Лиззи, я попробую объяснить. Все это свалилось мне как снег на голову. Но я хочу помочь. Я не привык помогать.

— Еще бы! Господи! Ты что, посвящен в Таинство? Тебя загипнотизировали? Так вернись в прежнее состояние.

— Ты копила все это. Валяй. Избавься от всей этой мерзости. Когда выговоришься, я попробую сказать...

— ...и у тебя получится. Что в тебе хорошо, Уилфрид Баркли, так это то, что, когда ты открываешь рот, выходит нечто не шибко умное, не шибко глубокое, зато безупречное по стилю...

— Ты будешь слушать или нет? Если нет, скажи. Я заткнусь.

Она закашлялась, затем швырнула вторую сигарету в камин.

— Ладно.

И я рассказал ей, вернее, попытался рассказать. Рассказал все — от ночи, когда проснулся пьяным, но не пьяным, и до того момента, когда наконец понял, что значит быть счастливым. Постарался объяснить суть

бреда, который превратил все остальное в подобие миража. Чем больше я старался описать неопишемое, тем нелепее это звучало.

— ...понимаешь, это перевернуло меня. Я кричал и хватался за время, будто мог остановить весь процесс; но бред перевернул меня всего, и я понял, что путь, которым я иду к смерти, — это тривиальный путь, путь для всех, что это путь здоровый, верный, соответствующий... Эй, в чем дело?

Я обнаружил, что стою над ней. Мне казалось, что у нее приступ, но она просто смеялась.

— Ты редкостный негодяй! Ты клоун! Ты, ты...

— Послушай, Лиз...

— Ты говоришь о счастье, когда тебе еще далеко до смерти...

— Я не то имел в виду! Я пытаюсь объяснить тебе, что все в порядке!

Смех теперь смешивался с кашлем.

— Ты себе выдумал какую-то религию...

Я закричал:

— Я обнаружил, что я — частица Вселенной, вот и все!

Смех приобрел какой-то жуткий оттенок.

— Ты не частица, мерзавец! Ты и есть Вселенная — для себя! А вот я...

Она разрыдалась.

Тут явился здешний врач. Наверное, она ожидала его прихода, не знаю. Генри был тактичен до невозможности. Меня он приветствовал — видимо, слухи уже разнеслись — так, будто я вернулся с уик-энда в Лондоне, а не отсутствовал много лет. С Лиз он заговорил, словно бы не замечая ее бешенства и слез на впалых щеках. Он прямо лучился каким-то весельем, словно, несмотря на все доказательства, которые можно было представить суду, несмотря на страдания, мрак и смерть, все происходящее было игрой и что в какой-то момент мы все прекратим разыгрывать трагикомедию и вернемся к обычному существованию.

Я отнес свои вещи в гостевую комнату и осмотрелся. Когда-то Рик спал там один, потом с Мэри-Лу, потом опять один. И вообще кто только там не перебивал. Комната в сельском стиле, с действующим камином и крохотным окошком, через которое открывался вид на реку и Лисий остров. Когда листья с деревьев опадали или только распускались, как сейчас, можно было смотреть вдаль, до самой мельничной плотины. Даже если бы она не сказала, я все равно понял бы, что здесь побывал Валет Бауэрс — когда болезнь Лиз обострилась или когда у них начались очередные ссоры. Над камином стояли его книги: «Тигры-людоеды Декана», «Ружье на

слонов», «Ружья», «Боеприпасы и стрельба из ружья», «Бизли — история фирмы и рекорды». Над ними полоса невыцветших обоев указывала, где он держал свое ружье «Бизли». В ожидании ухода доктора я листал эти книги. Там были замечательные схемы, например, в какое место тигра надлежит стрелять — ниже лопатки или в задницу, ни в коем случае не в голову, если хотите сделать чучело. Указания. Как преследовать раненого зверя. Как убить с первого выстрела. Боже мой, бедная Лиз, столько лет прожить с этим чудовищем!

Я оставил чемоданы и спустился вниз. Услышав, как миссис Уилсон гремит кастрюлями на кухне, я понял, что Генри ушел, в противном случае она бы ходила на цыпочках и обертывала бы посуду полотенцем. Я пошел искать Лиз, но не мог найти. В длинной комнате была Эмми.

— Значит, ты вернулся к маме. Ну и дурак.

— Ты же здесь.

— Это другое.

Она ушла на кухню. Я остался среди комнаты, словно в ожидании хозяйки. Да. Я дурак. Ничего даже отдаленно похожего на примирение или хотя бы приспособление — где же огромная, идущая от сердца заключительная книга Баркли, о которой я мечтал с тех пор, как прекратился бред? Мы так же расположены друг к другу, как пара скорпионов.

Лиз появилась из своей комнаты, тихая и бесцветная. Ей что-то вкололи.

— Извини. Нет, не его. Меня. Может, сядешь?

— Мне придется снова уехать.

— Ну да.

— Нет, я вернусь. Это Рик Таккер. Я обещал...

— Да.

— Я встречусь с ним в «Ахинеуме». Он не получит эти бумаги.

— Он же сумасшедший, ты знаешь.

— Знаю.

— И ему это не понравится.

— Пусть.

Мы замолчали. Лиз достала сигарету, передумала, собралась было положить ее обратно в пачку, но затем швырнула в камин.

— Странно все это, Уилф.

— Да. Нам нельзя было жениться. Надо было оставаться как бы братом и сестрой — у нас такая странная связь, на всю жизнь, несмотря ни на что.

— Я не о том говорю. Я о тебе и о нем. Я недавно читала одну биографию. Миссис Хемингуэй сказала: «У Олдоса получалось лучше. У Эрнеста получалось хуже». Когда я прочла это, я подумала о тебе. Она ведь ничего не говорила о критиках и работах. Знаешь что? Вы с Риком уничтожили друг друга.

## Глава XV

Я поехал в Лондон на три дня. Я бы оставался и дольше, но ночевки в клубе теперь ограничили еще сильнее. В «Атенеуме», среди всех этих епископов и вице-канцлеров, мне почему-то совсем не нравилось. А про «Ахинеум» что ни говори, но епископа там сроду не увидишь. Если уж на то пошло, то теперь там и писатели почти не водятся. В первый вечер я не встретил никого из знакомых, поэтому позвонил своему агенту, но тот уже ушел домой. Он живет за городом, и я сообразил, что даже не знаю его адреса — осмотнительный он парень! Мелькнула мысль насчет того, чтобы подцепить девицу, но я стал то ли слишком ленив, то ли слишком стар, то ли слишком разумен. Посмотрел театральные афиши и понял, что мне уже до лампочки все спектакли, да и фильмы тоже. Я стоял на Пиккадилли, наблюдал за родом человеческим, проплывавшим мимо в поисках размышлений, и признался себе, что Лиз была права. Я действительно уничтожен в том смысле, что больше не принадлежу указанному роду, а отношусь теперь к числу призраков и воспоминаний. Я пережил великий бред, и твердая мостовая по сравнению с ним ничего не значила. Скрипичная струна то ли повисла, то ли вовсе оборвалась. Нетерпимость отступила на задний план и, хотя не исчезла совсем, значила для меня не больше, чем церковная утварь. Это было пением во сне, то есть вовсе не пением; а поскольку пение начинается там, где кончаются слова, то где я? Лицом к лицу с неописуемым, необъяснимым естием — вот куда ты пришел.

Я побрел обратно в «Ахинеум» и выпил, чтобы убить время. Там было так покойно (в баре не было никого, кроме двух мирно беседовавших незнакомцев), что я заказал еще, потом еще и так далее. В общем, слегка сорвался.

На следующий день я пошел в контору литагента и очень много кивал. Он интересовался, есть ли у меня что-нибудь на выходе, и я сказал, что да, есть, но пока я не буду вдаваться в подробности, чтобы не сглазить — как обычно говорят в таких случаях, — а он тоже кивал, и видно было, как ему хочется поскорее отделаться от меня. Уилфрид Баркли уже не игрок, понимаете ли. Он исписался и теперь стрижет купоны. Агент был ко мне явно равнодушен. Может, пора подумать о выпуске собрания сочинений. Я вернулся в «Ахинеум» и остаток дня провел в постели — спал, мирно почивал, словно дитя, как принято выражаться — неверно, как почти все,



что принято. Проснулся я около пяти и засел в змеючнике в ожидании. Наконец зашла Нарцисс и сообщила, что профессор Таккер ожидает меня. Я удивился, почему она не провела его прямо в зал, но все стало ясно, когда я вышел в вестибюль. Он сидел на полу, опираясь спиной о громадные викторианские напольные часы. Рубашка была расстегнута до пупка, если его можно было разглядеть в буйных зарослях, зато с шеи свисала золотая цепь со множеством амулетов — там были Лотарингский крест, око Осириса — Анх, свастика, пентакль и еще с дюжину вовсе не знакомых. Завидев меня, Рик высунул язык, ухмыльнулся и пролаял. Я даже усомнился, вменяем ли он — это обстоятельство помогло бы решить проблему в конечном счете, но перед тем доставило бы массу неприятностей. Но, приветствовав меня лаем, он поднялся и отряхнул прах «Ахинеума» с седалища.

— Уилф, сэр, вы выглядите великолепно!

— Каким образом?

— Просто великолепно, и все!

Он возбужденно засмеялся, словно ребенок, которого пообещали уж сегодня точно взять на пикник. Он так молод. Так моложаво выглядит. Сорок. Может, сорок пять.

— И вы выглядите великолепно, Рик, просто великолепно. Пойдемте.

Я направился в бар, а Рик шествовал за мной, сияя, как начищенные каминные часы.

— Сперва немного выпьем, Рик, потом обед. Вы не против пообедать здесь? Кормежка приличная, а вина первоклассные.

Рик осматривался кругом, отмечая лики чуть ли не всей великой английской литературы на стенах.

Узнавая их одного за другим, он издавал восхищенные восклицания.

— Но вас тут нет, Уилф!

— Я еще не умер. Всему свое время.

Мы перешли со стаканами в змеючник.

— Документ, Уилф. Соглашение...

— После обеда, Рик, будьте уж паинькой.

— Это так долго... можно позвонить отсюда?

— Конечно.

— Так хочется сообщить радостную весть мистеру Холидею. Он будет доволен. Вам нравится моя цепь? Ей я обязан последнему, так сказать, изменению в моем положении...

— Дорогой мой Рик, вы заговорили как англичанин! Да, мне нравится ваша цепь. Она у вас никогда не попадала в суп?

— Тогда я ее держал в чемодане. Уилф, сэр, я должен от всей души извиниться. Я был сам не свой. Это просто было нетерпение, потому что я искренне вижу цель своей жизни или, можно и так сказать, долг в тщательном исследовании...

— Знаю, знаю. После обеда.

— ...и извиниться за то, что я сказал тогда.

— За то, что обозвали меня распоследней сволочью и обещали трахнуть мою мать?

В дверях за нашей спиной раздался радостный вопль. Я различил Джонни Сент-Джон Джона и Габриэла Клейтона.

— Рик Таккер, вы этого не говорили!

— Эй, привет.

— Габриэл, Джонни, Рик. Вы тут все знакомы?

Рядом с долговязым Джонни Габриэл выглядел низеньким, но он вовсе не такой. Он среднего роста и широкоплеч, как и надлежит скульптору. Плечи у него слегка покаты, голова опущена, что придает ему некоторое сходство с быком. Это он знает и отнюдь не стыдится. Габриэл приложил сжатый кулак ко лбу, считая, видимо, что таким образом один художник должен приветствовать другого, после чего включился в разговор.

— Трахнуть мать, — заметил он, — я уже придумал композицию. В бронзе. Мы это поместим в том алькове, напротив Психеи. Уилф заплатит. Это гораздо почетнее, чем висеть на стене среди вон тех бездарных бумагомарак.

— Габриэл, дорогой, набросай эскиз прямо сейчас. Уилф будет позировать.

— Черта с два.

— Я не виделся с тобой после Португалии, Уилф.

— Никогда не встречал тебя в Португалии.

— Это у него такая манера, Рик, вы же знаете.

— Да, сэр, знаю. Это замечательно.

— Я тебя тогда довел до кровати, Уилф. Ты мне должен обед. Я пришел за долгом.

— Господи милостивый.

— И я тоже, Уилф, дорогой. С учетом глубокого аналитического проникновения в твой характер, которым я оказал тебе честь на этом берегу... или на том...

— Джонни Сент-Джон Джон ныне окажет нам честь примером вышеуказанного проникновения.

— Немножко другая композиция, Габриэл. Из белого мрамора. В целях

чистоты.

— Ха и так далее.

— В тебя очень легко проникнуть, Уилфрид. Ты бы был донельзя обласкан моими поучениями, если бы я называл тебя не Хамли, а *cher maitre*<sup>[46]</sup>, разве не так? У нас у всех свои притязания, Уилф, какими бы они ни были — скажем, Нобелевка, а, Уилф?

— Нет? Все страсти ушли?

— Ты слишком умный наполовину.

Габриэл уже возвращался из бара с двумя открытыми бутылками кларета, которые благоразумно держал в разных руках.

— Ты очень щедр, Уилф.

— Еще бы.

— Бокалы, Джонни!

— Иду, иду! Быстрее, чем и так далее.

— Вы Рик.

— Да, сэр.

— Вы богаты?

— Нет, сэр.

— Времена богатых американцев, боюсь, канули в Лету.

— Нет, сэр, отнюдь, сэр!

— Я ищу богатого американца. Арабы не заказывают скульптур, разве что для перепродажи.

— Он не богат, Габриэл. Он белый бедняк, как все мы.

— Этот человек считает себя бедным, Рик. Третий века он спаивает себя и массу приятелей, разъезжает по свету и больше ничего не делает. Стоит ему сказать, что где-то что-то продается, и сразу растут тиражи, переполняются банки, рецензенты точат карандаши...

— Ножи они точат. Бога ради, оставьте нас вдвоем. Это деловая встреча. Нам с Риком нужно кое-что обсудить после обеда.

— Дорогуша, ты не можешь обсуждать дела в «Ахинеуме». Это запрещено уставом, как тебе прекрасно известно. Совращение продолжается, друзья мои, наркотики, грязекопание, склоки, мордой об стол время от времени...

— Не будь идиотом, Джонни.

— ...опять-таки, до «после обеда» еще много часов. Лично я никогда не слышал, чтобы выпивка помешала делам — если, конечно, это настоящие дела, а не так называемая занятость... О да, конечно, именно деловой бизнес должен скромно именоваться...

— Джонни, ты уже хорош. Давай избавимся от этих бутылок

немедленно. Ты очень, очень щедр, Уилф.

Я устал и так и сказал, но на них это не произвело впечатления. Рик, как я заметил, начал делать то, чего я за ним никогда не замечал. Он пил, не так много, как Габриэл, но лихорадочно. Когда мы наконец приступили к обеду, Рик стал нести какую-то чушь со своим невнятным среднезападным — или откуда он там происходил — акцентом. Все трое изрядно опьянели. Кое-что звучало неплохо, особенно когда говорил Габриэл. Мне стало скучно. Непривычно быть в компании единственным трезвым! Поворотный пункт настал, когда я сказал Рiku, что если он будет пить еще, то не сможет понять то, что я собираюсь ему сообщить. Тогда Рик скорее хнычущим, чем воинственным тоном дал нам всем понять, что его не интересуют никакие объяснения. Ему нужно только соглашение. Чтобы осторожно подготовить его к объявлению своей воли, я сказал, что соглашение между нами было сугубо джентльменским, рассмешив этим Джонни до колик. Я уже слегка разозлился. Габриэл, любитель вмешиваться всюду, предложил, чтобы он и Джонни были свидетелями при подписании. Пока я собирался с мыслями, Рик рассказал им о соглашении со всеми подробностями, включая Мэри-Лу и прочее. Итак, я вынужден был грубо вмешаться:

— Соглашения не будет.

Рик раскрыл рот и снова закрыл. Оттуда не вышло ничего, кроме тоненькой струйки выпитого вина.

— Извините, Рик, но дело обстоит именно так.

— Вы же не мо-о-жете... — Он отхлебнул вина, вздрогнул и вернулся к усредненному чреватлантическому акценту. — Вы никак не можете. Вы, вы обещали мне в Вайсвальде после того, как... Даже вы. Не можете.

— Послушайте, Рик, старина...

— Я говорю — вы не можете. Вы не знаете, что это значит. Я поставил на карту абсолютно все. Это невозможно, Уилф, сэр. Я понимаю шутки...

— Я не шучу.

— Я вас предупреждаю, Уилф Баркли. Я все равно напишу... Послушайте, сэр. Это означает полную нищету. Я рискнул всем. Мистер Сент-Джон Джон, мистер Клейтон, вы свидетели...

— Рассказывайте дальше, Рик, мы же его старые друзья.

— Я отказался от карьеры, как я уже сказал. Я спас ему жизнь...

— Не спасли!

— Спас! Там, в тумане...

— Вы подкладывали под меня собственную жену, вы шпионили за мной, преследовали меня. Не выводите меня из себя.

— Это вы выходите из себя? Господи Всемогуций. Знаете, что он

заставлял меня делать, джентльмены? Я никогда вас не преследовал — а если и преследовал, что тут такого? У нас свободная страна, вот вы и развлекались, то и дело меняя такси, пересаживаясь с одного парохода на другой, а в довершение всего издевались надо мной в Марракеше. Если вы будете продолжать в том же духе... Я-то хотел уважить ваши пожелания...

— Вы слушаете?

— Я вас предупреждаю. Я не беззащитен!

— Ради Бога!

— Я использую те материалы, что мне дала миссис Баркли. И мисс Баркли.

— Какие материалы?

— Они мне кое-что рассказывали.

— Ну-ну! Счастливая развязка!

— Слушайте внимательно, Рик. Вы слегка пьяны и, видимо... в общем, слушайте. Вы не будете писать именно эту биографию. Я напишу ее сам.

Рик издал странный вой. Ничего подобного я в жизни не слышал. Наверное, так воет волк, или койот, или еще какой-то дикий зверь. После этого все смешалось. То есть он стал на колени или, вернее, бросился на колени.

Он укусил меня в лодыжку. Пару секунд мне казалось, что ко мне вернулась могучая мужская сила, но потом он навалился мне на колени и потянулся к голове. Я почувствовал его руки у себя на правом ухе и левой щеке и понял, что свободными пальцами он тянется к глазам. Джонни попытался стать между нами и Габриэлом, намереваясь — как я сейчас понимаю — оттащить стол с множеством стеклянной посуды, и на него набросились двое сидевших за соседним столом. Как я понял, волна истерии охватила весь зал, и солидные джентльмены в безупречных костюмах сцепились в потасовке. Перевернутые столы, слезы, люди на полу, меню, карты вин, счета, амбарные книги, обрывки рукописей — все это кружилось в воздухе, словно шел густой снег. Несколько человек порезались осколками стекла, но в общем мы не слишком пострадали. Мы, бумажные людишки, не особенно сильны в таких делах, даже если стараемся. Подобно Мэри-Лу, мы не материальны.

Осмелюсь сказать, у меня немного саднила кожа и болело место укуса, но и только. У меня был вырван клочок бороды и пылало ухо, вот и все. Я даже не видел, что стало с моим гостем. Я очень крепко спал.

Когда наутро я спустился вниз, секретарь клуба уже стоял в зале. Вид у него был суровый — думаю, что взаправду. Он отметил меня в списке,

который держал в руках.

— Мистер Баркли, я вынужден просить у вас отчета в том, что произошло вчера в ресторане.

— Меня нельзя беспокоить. Извините.

— Я вынужден буду доложить комитету.

— Если они захотят, чтобы я вышел из членов клуба, скажите, что я сделаю это без огласки.

— Я просто не представляю, во что станет починка нашей Психеи.

— Очень тонко подмечено, полковник, весьма удачная формулировка.

Полковник помрачнел еще больше.

— Следует ли понимать, что вы признаете свою ответственность? Если да...

— Какого черта? В определенной степени полагаю, что да.

Я пошел в кафе, где не было никого, кроме официантки и миссис Стони, сидевшей за кофеваркой словно каменное изваяние. Я ничего не взял, кроме кофе. Когда я подошел расплатиться, миссис Стони слегка растаяла.

— Миссис Стони, что вы думаете об этом?

— Не мне об этом высказываться, сэр.

— Да ладно вам. Больше мы с вами не увидимся, потому что, осмелюсь сказать, они меня выкинут. Так что скажите честно, миссис Стони, что вы думаете об этом?

— Ваша сдача, сэр. Благодарю вас, сэр.

— Мальчишки всегда остаются мальчишками, миссис Стони. Будьте здоровы.

Итак, я ушел. Вот, думал я, за моей спиной появилась новая тень, новый отрезок прошлого, которого следует избегать. Ибо даже я, при всем моем умиротворенном довольстве, немного стыдился бестолковой ресторанной потасовки. В книгах неимоверно преувеличивается то, что можно прочесть на лице. Но я не озаботился запоминать лицо миссис Стони. Есть выражения, которые написаны словно бы огромным плакатным шрифтом, и самые распространенные среди них — это презрение и неприязнь.

## Глава XVI

Я сомневался, что выдержу возвращение домой, но дорога вилась себе и вилась, как будто все шло нормально. В этом-то и заключалась ирония, как вскоре выяснилось. Я думал о выволочке, которую мне устроила бедная Лиз. В конце концов, она не имела права ни на что претендовать, а Эмми давно уже исполнился двадцать один год. Что действительно влекло меня «домой», так это рукопись, которую вы сейчас читаете, работа, которую мне предстояло выполнить, а для нее могла оказаться необходимой масса бумаг, наполнявших ящики. Тем не менее я должен был подстегивать себя.

А потом Эмми встретила меня в дверях с красными глазами.

— Она ушла.

— Кто?

— Мама.

— Куда ушла?

— Ты... ты... черт побери, умерла, вот куда.

— Когда?

— Только что. Утром. Тебе повезло. Ты смылся.

Огромные слезы скатывались на опущенные уголки рта.

— Прошли годы и годы, Эмили.

— О Боже.

Будь я отцом, я обнял бы ее, а то и подставил плечо, чтобы дать выплакаться. Но я не был отцом, я был просто чужаком, ошеломленным тем, что на него вдруг свалилось. Она пыталась что-то сказать, но смогла лишь выдать:

— Я... я... не могу...

Рот у нее раскрылся, и природа исторгла волчий вой из этого человеческого тела. Тогда я протянул руку, но она ее не заметила или не захотела. Она отвернулась и пошатываясь ушла, некрасивая, толстая молодая женщина. Ушла к реке, где, бывало, пряталась в детстве, когда внешний мир слишком уж доставал ее. Я зашел в холл, поставил свою единственную сумку и поднялся наверх.

Дверь «нашей» спальни была открыта, и окно тоже. Шторы были полузадернуты, от примул в вазе шел легкий сладковатый запах, словно символ всеобщего безразличия. Хвала безразличию! Из угла появился Генри, чуть менее веселый, чем обычно, однако заговорил он чуть ли не шепотом:

— Она не испытывала боли. Печень, понимаете ли.

Вот как повезло Элизабет! Из бесчисленного множества исходов она была вознаграждена именно этим!

Все, что полагалось, было сделано. Медсестра Генри, да и он сам, работали споро. Ее часы и кольцо ее матери лежали на прикроватном столике. Под белой простыней она выглядела монументально. Генри подошел к изголовью кровати, повернулся и кивнул мне. Покоряясь, как я понимаю, одному из ритуалов смерти, я приблизился и стал рядом с ним. Он сдернул покрывало до груди.

Элизабет выглядела поразительно похожей на себя. Кто-то стер алое пятно помады, и ее ненакрашенное лицо имело угрожающее выражение. Я сам удивился, почему так боялся изменений. Ничего особенного — просто лист опал.

Ее раскрытые глаза уставились прямо на меня. Весь мир мгновенно проплыл мимо меня и покрылся туманом.

Генри чуть ли не пританцовывал. Он нагнулся над ней и проделал какую-то хитрую операцию. Потом снова натянул покрывало.

Я обрел голос:

— Пенни. Драхмы. Оболы.

Генри взял меня под локоть и развернул. Мы вместе спустились по лестнице. Я подошел к буфету и достал не вино, а виски. Машинально предложил Генри, но тот улыбнулся и покачал головой. Я глотнул виски, и оно не пошло. От кашля я чуть не потерял сознание. Генри похлопал меня по спине. Велико могущество науки.

Наконец я распрямился. Генри прямо-таки сиял:

— Вам лучше?

Я подумал. «Лучше» — по сравнению с чем?

— Полагаю, что лучше. Да.

Генри радостно улыбнулся:

— Я все излечиваю... гм... Уилф.

— Да. Видимо, так. Спасибо, Генри.

— Ну, хорошо. Тогда я пойду.

И удалился, весь сияющий.

Я направился в сад и продрался сквозь кустарник. Эмили сидела на каменной скамье и смотрела на лес за рекой. Я стал у нее за спиной.

— Я чем-то могу помочь?

— Не знаю. Ты поздно вато приехал, тебе не кажется? Нет. Не думаю.

— Нужно сообщить. Родственникам.

— И священнику. Она была такая религиозная.



— Это молодой парень в джинсах и дырявом свитере с крохотным воротничком от сутаны?

— Он самый. Дуглас. Он хороший человек. На прошлой неделе она ругала меня в присутствии некоторых людей. Потом он прошептал мне: «Страдание не улучшает людей». Вплоть до могилы.

— Я имею в виду, для тебя я могу что-то сделать?

— Как ты только что сказал — прошло много времени.

— И для меня тоже. Если тебя это утешит, тебе достанется немало денег. Сначала от нее, потом от меня.

Как однажды заметил Рик, они с Лиз долго смеялись. Теперь он мог включить в это число и Эмили.

Все прошло замечательно. На похороны явилась целая орда родственников, но все они кучковались возле Эмми, избегая меня. Рик явился на отпевание, на котором настояла Эмми, с последующей кремацией. Он сидел в заднем ряду, шумно плакал и ушел до окончания церемонии. Позже, на поминках, присутствующие запивали копченого лосося мозельским, еще более подчеркнуто игнорируя меня. Только один из них, видимо, незнакомый мне родственник, сорвался. Наверное, он был приятелем Валета Бауэrsa, посланным на разведку, потому что я видел перед собой образцового солдафона — здорового, крепкого, краснощекого. Я готов был заговорить с ним и даже предложить выпить, но он лишь смеривал меня взглядом и открывал и закрывал рот, словно рыба. Потом передумал и вернулся к обществу. Я вспомнил свою итальянскую подружку и порку, которую она мне устроила. А теперь я получил порку по обычаям внутренних графств Англии. Я еще крепче утвердился во вновь обретенном убеждении, что бывают места куда лучше.

— Мысли о доме после дальних странствий, воистину!

Я разозлился.

Молодой священник, Дуглас, выделился из толпы, словно спеша пролить бальзам на раны и внести успокоение в умы. На нем была черная шелковая сутана, а духовный воротник сейчас стал гораздо заметнее. Он подошел ко мне с какой-то неуклюжей серьезностью, напомнившей мне Рика Таккера в те времена, когда тот еще действительно стеснялся. Я все еще сердился.

— А-а... вы Дуглас, да? Как поживает церковь в наши дни?

— Борется, мистер Баркли. Она нуждается в помощи.

— Денежной, разумеется.

Он решительно покачал головой:

— Нет. Во всяком случае, не в первую очередь.

— Если вам нужна духовная поддержка, то вы обратились по адресу.

— В самом деле?

— Можете мне не верить, но я страдаю стигматами. Да. Четыре из пяти ран Христовых. Четыре есть, остается одна. Нет. Видеть эти раны нельзя, в отличие от бедного отца Пио. Но заверяю вас, мои руки и ноги болят адски — или надо сказать «райски»?

— Не думаю...

— Не думаете, что такие, как я, могут претендовать на такое отличие?

Он озабоченно осматривался, видимо, соображая, какого психиатра мне порекомендовать. Может, назовет собственную фамилию и адрес.

— Ну, отец Дуглас. Разве это, по-вашему, не замечательно?

— Вы серьезно?

— А иначе вы вернетесь ко всем этим менялам и грешникам?

— О нет! Но... вы действительно серьезно?

— Еще бы. Временами боль просто адская.

Он внимательно присмотрелся ко мне:

— Вы должны ими гордиться.

Я оторопел. Он одарил меня совершенно не духовной улыбкой.

— В конце концов, крестов-то было три.

Я стоял, рассматривая комнату, как на экране: родственники дефилируют мимо Эмили, молодой Дуглас прощается с ней, все эти рукопожатия и всеми признанный вывод, что в наше время люди только и встречаются, что на похоронах.

Но зато для меня столь многое прояснилось! Три креста... полный спектр... Не для меня ответственность добродетели, жалкий ужас святости! Для меня — умиротворенность и прочность от осознания себя вором! Я стоял, ни слова не говоря и ничего не делая, пока все не разошлось. Эмми что-то сказала мне, но я не понял что. Похоже, в какой-то момент я сел, но совершенно этого не помню. Миссис Уилсон, по всей видимости, убрала этот разор, но я ее не замечал. Это было похоже на кататонию.

На следующий день Эмми заявила, что продаст дом, как только я, по ее выражению, «свалю к такой-то матери». После чего вернулась к своим занятиям социального работника в каких-то трущобах для среднего класса, а мне было позволено забрать свои вещи из дому. Оказалось, после меня не осталось почти ничего, кроме бумаг, столь раздражавших Лиз и Валета Бауэрса. Мне пришло в голову, что я подсознательно оставил свой архив здесь просто назло им. Мы мало что знаем о себе любимых, разве не так?

Приезжал Рик, умолял меня, сыпал проклятиями и лаял. Я отказал ему от дома, что, конечно же, было просто смешно. Он все равно вертелся

вокруг, ночуя бог знает где и шпионя за мной по всем углам. После своего бреда я мог с абсолютной уверенностью человека в здравом уме сказать, присутствует ли здесь та или иная личность или нет. Вне всякого сомнения, Рик действительно здесь и выслеживает меня. Он понятия не имеет, что это все в моей власти и — более того — я поставил своей целью излечить его. Он получит свою мечту. Об Уилфриде Баркли — великом консультанте.

Звонил Валет Бауэрс. Он не появился на похоронах, но ему хватило наглости требовать свои книги и ружье. Я бросил трубку. Надо добавить, что он вылакал весь мой замечательный винный погреб, даже и не думая его сохранить.

После отъезда Эмми я все время проводил за разбором гор бумаг, хранившихся в чайных ящиках. Но еще больше я сочинял и печатал это краткое сочинение. Вчера перечел в один присест все с самого начала — от Рика в мусорном ящике до Дугласа на поминках. Пробуждение. Ха и так далее.

Невзирая на повторы, многословие, жаргонизмы и умолчания, это честное повествование об обстоятельствах, при которых у клоуна спадали штаны. В моем возрасте рассчитывать на большее нельзя. Думаю, лучшее, что ему досталось, действительно, прямо-таки божественно остроумная часть его клоунады, — это стигматы, награда за трусость перед лицом врага! Но у святого Франциска и прочих внушаемых существ стигматы были не только на руках и ногах, они получали рану и в боку — ту самую, что послужила причиной смерти Христа или, во всяком случае, после которой его признали мертвым. Вот ее-то у меня нет. И вряд ли появится. Ибо я намерен вновь исчезнуть. Машина, в которой можно спать? Фургон? Домик на колесах? Нищенский навес под пальмой? Образумься, Уилф! Для этого слишком поздно. Я исчезну в комфортное место!

Что возвращает мысли в день сегодняшней. Я собрал все свои бумаги и свалил их на берегу. Стоит мне поднять голову от машинки, и я вижу эту кучу, настоящую гору преимущественно белой бумаги, изнывающую в ожидании — поразительно белую на фоне темного леса по другую сторону реки. Когда я покончу с этой рукописью, я возьму канистру керосина, полью им бумаги и подожгу — ритуал посвящения, состоящий из обломков, обрезков ногтей и волос, давно прошедшего времени, ненужной переписки, рецензий, заметок, платежной документации, рукописей, транспарантов, исковых заявлений — бумажного итога всей жизни!

А потом я найду Рика и отдам ему этот маленький клочок бумаги, все, что необходимо, все, что осталось, все, что тяжестью истины перевешивает лживые рассказы, обрывочные дневники и все прочее. Это будет своего

рода умирание. Воистину свобода, вот уж свобода — ничего не скажешь!

Я счастлив, умиротворенно счастлив. Почему это так? Иногда опыт схож с бриллиантом — острогранным, сверкающим, бессловесным. А иногда опыт скромнен и небросок, и мой непритязательный опыт, именно благодаря своей скромности, позволяет мне испытывать счастье. Я счастлив. Это не подлежит обсуждению, это факт. Либо я сам ушел от нетерпимости, что невозможно, либо она отпустила меня, что также невозможно.

Как я мог измениться? Но я изменился. Вот выпивка, например. Четверть века безуспешно пытался бросить, а сейчас просто бросил без всяких попыток! Конечно, опасно утверждать такое с учетом того, сколько раз с клоуна спадали штаны, но я пишу с абсолютной внутренней убежденностью — я выпил свою последнюю рюмку.

Кто знает? Когда нетерпимость изгнана на задворки, остается место для неоправданного милосердия, например, того, что побуждает меня отдать Рику эти бумаги: милосердия, которым эти ни на что не годные существа, Уилфрид Таунсенд Баркли и Ричард Линберг Таккер, могут быть уничтожены навеки. Может, это делает меня счастливым?

Рик всего в ста метрах отсюда, за рекой, бродит между деревьями, словно играет в индейцев. При моем ритуале будет присутствовать публика. Сейчас он прислонился к дереву и рассматривает меня в бинокль. Каким чертом Рик Л. Таккер сумел завладеть га...

---

---

notes
-------

## Примечания

Парафраз знаменитой речи Черчилля времен войны: «Мы будем сражаться на побережье и на море, в полях и холмах... и мы никогда не сдадимся!»

брачном ложе (*ит.*).

**3**

замок (*ит.*).



4

сливки общества (*фр.*).

Библейский Иаков семь лет служил Лавану за женитьбу на его дочери Рахили, но Лаван подсунил ему другую дочь, полуслепую Лию, а за Рахиль пришлось служить еще семь лет.

лесные рожи (фр.) [т.е. похмелье (*прим. верстальщика*)]

Опыт учит дураков (*лат.*).

Томас Стернс Элиот (1888-1965) — выдающийся английский поэт американского происхождения, лауреат Нобелевской премии.

Господи, заштити нас (*лат.*).

Джеймс Босуэлл (1740-1795) — друг и биограф основателя английского литературоведения Сэмюэля Джонсона, знаменитый своей скрупулезностью.

Нимуэ — в кельтской мифологии фея, возлюбленная волшебника Мерлина.



Пердита — одно из действующих лиц шекспировской пьесы «Зимняя сказка». (*прим. верстальщика*)

Миранда — героиня пьесы У. Шекспира «Буря». (*прим. верстальщика*)

По одному из вариантов мифа, Парис похитил призрак Елены, из-за которого и шла война, а настоящую Елену боги укрыли в Египте.

как таковых, вообще (*φp.*).

нравственность (*фр.*).

«Авис» для господ клиентов» (*фр.*) — реклама фирмы по прокату автомобилей.

Айны — народ, древнейшее население Японских островов. Некогда айны жили также и на территории России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. В настоящее время айны остались в основном только в Японии. (*прим. верстальщика*)

Сэмюэль Джонсон (1709-1784) — английский писатель и лингвист, автор знаменитого словаря, считался исключительным языковым пуристом.

Полностью: Chacun a son gout — у каждого свой вкус (*фр.*).



любовная записка (фр.).

Фонтан Четырех Рек на Пьяцца Навона построен Лоренцо Бернини в середине XVII века в подражание античным образцам.

Ноэл Коуард (1899-1973) — английский драматург и кинорежиссер. Как и поэт Перси Биши Шелли (1792-1822), предпочитал жить в Италии.

Блум — герой романа «Улисс» Джеймса Джойса.

Война? (*ит.*)

Ошибка! (ит.)

Где Баркли? (*ит.*)

привязанность (*фр.*).



общее название сексуальных меньшинств.

Перевод С. Сухарева.

Бриттен Эдвард (1913-1976) — английский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный общественный деятель. Крупнейший представитель современной английской музыки. (*прим. верстальщика*)

положение обязывает (*фр.*).

Игра ума ( $\phi p$ ).

Мусака — мясная запеканка с овощами.

скажи на милость (*фр.*).

Трансепт — поперечный неф или несколько нефов, пересекающих под прямым углом основные (продольные) нефы в крестообразных по плану зданиях. (*прим. верстальщика*)



Удар, инсульт (*ит.*)

«Моя великая вина» (*лат.*)

Да, великая вина (*ит.*)

Вордсорт Вильям (1770-1850) — английский поэт, выдающийся представитель «озерной школы»), выразитель идеологии мелкопоместного дворянства периода его упадка, когда новая капиталистическая действительность вытесняла устаревшую систему помещичьего хозяйства. (прим. верстальщика)

катание на лыжах после окончания сезона (*фр.*).

вечная женщина (нем.).

веселая дурнушка (*фр.*).

Итак! Нет, вот ( $\phi p.$ ).



предметом (фр.).

в курсе дела (*фр.*).

дорогой учитель (*фр.*).